



В.Г. Бабенко

Будоври



Москва, 2019

Владимир Бабенко

Бубыри (сборник)

«Товарищество научных изданий КМК»

2006–2008

УДК .161.1-32+59(470+571)(092)(081)Бабенко В. Г.
ББК 84(2=411.2)6-44я44+28д(2)Бабенко В. Г.

Бабенко В. Г.

Бубыри (сборник) / В. Г. Бабенко — «Товарищество научных изданий КМК», 2006–2008

ISBN 978-5-907099-88-3

Владимир Григорьевич Бабенко, доктор биологических наук, профессор кафедры зоологии и экологии Московского педагогического государственного университета, член союза писателей России, автор более 900 научных, научно-популярных, учебных и художественных публикаций (в том числе свыше 100 книг). «Бубыри» – сборник, куда вошли рассказы из книг «Записки орангутолога» (2006) и «Барский театр» (2008). В предлагаемой книге также рассказывается о людях, посвятивших себя профессии зоолога и о невероятных приключениях, которые случаются почему-то именно с ними. О научной работе зоологов сами за себя говорят монографии, книги, статьи, тезисы и отчеты. А вот как этот материал добывается и что остается «за кадром» и вообще, откуда вырастают, как воспитываются, где учатся люди этой редкой и замечательной профессии, известно немногим. Все истории, написанные в этой книге – подлинные, все они случились с автором, его друзьями, приятелями или знакомыми. Автору оставалось только «сшить» разрозненные эпизоды в единое повествование.

УДК .161.1-32+59(470+571)(092)(081)Бабенко В. Г.
ББК 84(2=411.2)6-44я44+28д(2)Бабенко В. Г.

ISBN 978-5-907099-88-3

© Бабенко В. Г., 2006–2008

© Товарищество научных изданий
КМК, 2006–2008

Содержание

Часть 1. Котлеты из серого кита	7
Бубыри	7
Ротонда	12
Метис	23
Неудачная экспедиция	35
Синий каменный дрозд	47
Египетские ночи	60
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Владимир Григорьевич Бабенко

Бубыри

© Бабенко В.Г., 2019

© Товарищество научных изданий КМК, издание, 2019

© Чайка Д., обложка, 2019

Часть 1. Котлеты из серого кита

Бубыри

Я открыл глаза, в полной темноте встал, шлепая босыми ступнями по теплым домотканым половикам (иногда попадая на не застеленный прохладный земляной пол) пробрался в сени, еле освещенные крохотным оконцем, и вышел из хаты, чтобы, наслаждаясь одиночеством, обойти свои владения.

В мягких розовато-серых утренних сумерках светился белый головной платок бабушки, которая, откинув плетеную ивовую петлю калитки, входила во двор. Она возвращалась с базара: свежей рыбой там начинали торговать затемно.

Воркование горлицы только подчеркивало тишину утреннего штиля. Я вышел на улицу.

Грунтовая дорога была покрыта толстым бархатистым слоем светло-серой пыли. Ночные путешественники разукрасили эту чуткую поверхность. Вот отпечатки гусениц микроскопических тракторов – здесь наследили лапками насекомые. Встречались и прерывистые зигзаги со смазанными ямками по краям – пыль даже для ящерицы была слишком нежной. Изредка попадалась непрерывная извивающаяся лента: с одного огорода на другой переползала змея. В пыли лежали и красивые, коричневые с белыми прожилками надкрылья мраморных хрущей – остатки ночной охоты летучих мышей.

На плотной как асфальт обочине блестели дорожки высохшей слизи. Они всегда начинались из придорожной травы, а потом свивались в плотные спирали, блестящие, словно серебряные монетки – это ночью бродили улитки.

Я вернулся во двор, прошел за хату, где из-под края крыши свешивалось огромное осинное гнездо, и несколько минут любовался волнообразными узорами с чередованием различных оттенков серого и бежевого: наверное, насекомые приносили строительный материал – жеваную древесину из разных мест.

В саду под грушевыми деревьями лежали насмерть разбившиеся плоды, уже облепленные ранними осами (дед, чтобы угостить меня целыми дулями, аккуратно снимал их маленьким металлическим сачком на длинной палке).

Обходя шершавые стволы вишен, на которых светились гладкие, словно окатанные морским прибоем янтарные натеки, я на ветвях нашел только несколько висевших подсохших ягод, черных, сморщенных и сладких как мед.

В густой листве абрикоса оранжевые плоды были совершенно незаметны, зато на серой, с редкими былинками земле лежали подаренные мне прошедшей ночью: все спелые, с красноватыми веснушками, а один, треснувший по шву, показывал влажную коричневую косточку.

За шелковицей, под которой сухая земля была раскрашена фиолетовыми кляксами упавших ягод, начинался обильный южный огород. Там в полном безветрии висел чудесный аромат помидорных листьев – запах, навсегда связанный у меня с украинским летним утром. Томаты на бабушкином огороде были не банально-красные, а благородно-розовые, каких-то невероятных размеров, к тому же плоские, неровные, с золотым нимбом у черешка. На боку первоклассного спелого плода обязательно проходила ломаная расщелина; ее края уже чуть подвяли, а в глубине маняще поблескивали крупинки, словно кто-то уже заранее присыпал помидорную рану мелкой солью.

Я с утренней добычей садился на скамейку у белой стены хаты в тени огромной раскидистой дикой груши (три нижние ветки были привиты тремя различными сортами, и на них висели разномастные плоды, зато вся вершина была покрыта россыпью мелких как горох жел-

тых «дичков»), смотрел на соломенную крышу соседней хаты, в которой воробьи проделали множество нор, и думал, что хорошо бы залезть туда и достать птенца.

Над грушей с нежным негромким курлыканьем пролетала стая щурок. Одна птичка, раскинувшая крылья и от этого ставшая похожей на бумажный самолетик, сделала круг над хатой, сверкнув в лучах взошедшего солнца золотой щечкой.

На плетне сидел маленький серый паук. Он поднял вверх брюшко и старательно выпускал паутину. Серебряная прядь висела над ним вертикально, как дым над трубой в морозное утро. Паук, наверное, думал, что паутина такой длины удержит его в воздухе, подпрыгнул, но нить была явно коротка для воздухоплавания, и он шлепнулся вниз.

Позвали к завтраку.

Только что собранные помидоры были нарезаны огромными ломтями, перемешаны с кружками лука и залиты самодельной душистой «олией». В миске дымилась присыпанная укропом вареная картошка, в большой тарелке лежал утренний бабушкин «улов» – поджаренная и уже охлажденная плотва (по местным понятиям, горячую рыбу есть было вредно). Чая не пили совсем (помню, как это меня вначале удивляло), зато стояла кринка с кисловатым компотом. И, конечно же, бабушка уже успела испечь пирожки. Я разглядывал их пористые бока, и, сгоняя ос, выбирал те, которые изнутри светились медовым цветом, – с яблоками.

Как всегда после завтрака начинались сборы на реку. Казалось, что наша семья, приехавшая погостить к родственникам, переселяется в неведомые страны и нам предстоит несколько дней идти через пустыню. В колоссальные полотняные сумки паковалась приготовленная бабушкой провизия: огромный серый валун паляницы, пирожки, бутылки с питьем, круглые дыньки-«колхозницы», маленькие сизо-зеленые кавунчики и, конечно, несметное количество помидоров, груш, абрикосов, вареных яиц, жареная курица и рыба.

Наш караван тронулся в путь, когда солнце уже палило вовсю, и в мире господствовали только два цвета – ярко-синий и золотой.

Я с нетерпением ждал, когда мы дойдем до крайней хаты, где на солнечной стороне, на подоконнике, в недрах огромной пузатой бутылки зрела наливка: в пурпурном сиропе над толстым слоем свекольного цвета сахарного песка парили плотные стаи вишен.

На другой стороне улицы весь плетень пестрел глазками вьюнка: белые кружки с голубыми, фиолетовыми или розовыми ободками. К вечеру цветки-однодневки умирали, и я каждым утром старался угадать, где появится новый зрачок.

Неподалеку рос огромный, весь серый от пыли куст полыни, в который словно кто-то бросил обрывки оранжевой пряжи. Я попытался вытянуть одну из этих «ниточек» и с удивлением обнаружил, что, во-первых, это тоже растение, а во-вторых, что оно смертельной хваткой держится за полынь.

А еще дальше строили новую хату. Там человек двадцать мужиков (наверное, все родственники будущего новосела) с закатанными до колен штанами делали саманный кирпич: босыми ногами прессовали в деревянных формах солому, заливая ее густым глиняным раствором. Поодаль сушились ряды брусков, разномастных в зависимости от готовности – цвета какао, постепенно разбавляемого молоком.

За селом дорога сначала ровно шла в тени акациевых посадок, а затем начинала петлять по степи. На моих ногах появились белые полосы, прочерченные на загорелой коже колючими травинками, а сандалии забились половой.

По обочинам стремительно носились неуловимые ящерики, коренастые, короткохвостые, в изумительном черном крапе.

У муравьиных норок желтели кучки пленок от семян – крошечные тока насекомых.

Из-под ног то и дело взвивались серые кузнечики. Они разворачивали свои чудесные голубые крылья, с треском летели над дорогой, затем, складывая их, падали вниз и мгновенно исчезали, сливаясь с грунтом. Сколько раз я, крадучись, подходил туда, где приземлилось насе-

комое, но оно всегда оказывалось не там, где я предполагал, а чуть в стороне и пугало меня своим шумным синекрылым стартом.

Иногда с высушенной южным солнцем былинки взлетал другой кузнечик – длинный, соломенно-желтый, с мордочкой, похожей на капюшон куклуксклановца, с библейским именем «акрида».

Тропинка шла мимо небольшого, с десяток могил, кладбища. Некоторые были обнесены деревянными заборчиками, другие были просто обозначены крестами. На одной тянулся вверх одинокий запыленный стебель розы, увенчанный великолепным свежим темно-красным цветком.

Огибая кладбище, двигалась узкая длинная колонна марширующих куда-то блестяще-рыжих муравьев. Я, конечно же, пошел в ее арьергарде в надежде узнать, где же находится их поселение. Проследив, как муравьиный ручеек стёк в овраг, я полез было туда, но тут меня окликнули, и я вынужден был догонять своих.

Я шел рядом с родителями, светило солнце, синело небо, на нем кудрявились маленькие облака, по балкам темнели заросли акации, вдали сверкала река, желтела степь, среди которой петляла светло-серая лента дороги – квинтэссенция счастья.

Наконец мы добрались до реки. Днепровский песок был чуть желтоватый, мелкий, чистый и нестерпимо горячий. На прибрежных песчаных холмах (тогда они мне казались настоящими барханами) ничего не росло, ивовые кусты теснились лишь у самой воды, не рискуя подняться вверх по склону.

Лагерь разбили под ивами. Прямо на песке расстелили сиреневую скатерть, на нее разложили снедь, тут же щедро приправляемую мелким песком. В затончике, дожидаясь своего часа, плавали арбузы и дыни, там же у самого берега были по горлышки закопаны бутылки, заткнутые кукурузными початками – темно-розовые – с морсом и бежевые – с ячменным кофе.

После обеда отец взялся за удочки, а я, круша пятками своды галерей, построенных в сыром песке медведками, побрел по берегу. Мимо лица, заставив меня вздрогнуть, пролетела с крутого откоса в воду огромная зеленая, в черных пятнах лягушка. Интересно, зачем она так высоко забралась? Оказавшись в реке, земноводное неподвижно распласталось, свесив вниз лапы. Плотвичка дернула ее за палец – не червяк ли? Лягушка дрыгнула ногой, и испуганная рыбешка выпрыгнула из воды, издавая плавниками жидкое жужжание.

Песчаное дно мелководья исчертили ракушки. Некоторые из их следов напоминали круг, другие – восьмерку, а третьи – знак морского узла, которым, как известно, подписывался пират Флинт.

В глубине, у коряги неподвижно висел пятнистый щуренок, а по поверхности старицы скользили рыбы, светясь прозрачно-зелеными спинками, толстобрюхие, как самки гуппи. Я бросил в них слепленный из мокрого песка комок. Рыбы метнулись в разные стороны, но в глубину не ушли – их не пускали раздувшиеся брюшки. Это была «глистастая» рыба, набитая паразитами настолько, что не могла погружаться. Ее, забавы ради, ловили руками местные ребятишки, да еще коршуны, но уже для пропитания.

Вдалеке по мелководью неторопливо брел аист, именуемый здесь черногузом. Пронзительно пискнув, над самой водой пролетел синей искрой зимородок. С заливчика неожиданно взлетел серый куличок, а в ясном небе над Днепром парил коршун. Он держал в лапах рыбу, и, наклоняясь, клевал ее. И за все время пока я следил за его полетом, он не уронил вниз не единого кусочка!

На песке среди прутьев, от невыносимой жары черных и хрупких, как угольки, я нашел сброшенную шкуру огромного ужа: полупрозрачную, хрустящую как целлофан и совершенно целую (даже глаза сохранились!).

Я прошел еще немного по берегу, и здесь меня сначала до смерти напугал лежащий без движения здоровенный, черный уж (может быть тот самый, чью шкуру я нашел), который

меланхолично заглатывал лягушку, а чуть позже – с треском вывалившееся из кустов стадо соломенно-желтых коров.

Было жарко и безветренно. Я сел на песок. Оказывается, если сложить ладонь трубочкой, поднести ее к глазам и смотреть только на отражающиеся в воде кусты, то они приобретают вид зеленых сталактитов и фантастических кораллов.

Эту иллюзию разрушали речные обитатели, создающие помехи на «экране». Летающая поденка медленно садилась на поверхность реки, а потом взмывала вверх. А снизу рыба так же нежно касалась места ее взлета. Наконец их соприкосновения совпали, и бабочка легко исчезла под водой.

Большие стрекозы купались, со всего разлета ударяясь о воду, а потом взлетая. А черно-синий самец мелкой прибрежной стрекозы ухаживал за сидящей на травинке зеленоватой самкой: сложив крылья и подняв вверх кончик брюшка, скользил перед своей подружкой, как крошечный кораблик с пиратскими парусами.

Глядя на медленно текущую огромную реку, на голубое небо, шурясь от висевшего в зените солнца, я думал, что, наверное, где-то здесь, в районе нынешнего Днепродзержинска, на одной из этих желтых песчаных кос и происходила знаменитая битва Добрыни Никитича со змеем, когда гигантская рептилия враспloch напала на безоружного богатыря, но он успешно отбил ее своей шляпой, предварительно наполнив ее пудами вот этого самого песка, который сейчас струится между моих пальцев.

В день нашей первой вылазки на Днепр я безнадежно испортил свой новый сачок для ловли бабочек, но, все-таки изловчившись, сумел поймать этой subtilной конструкцией с десяток мальков, среди которых была крохотная в зеленоватых разводах рыбка с топорщившимися девятью зубчиками на спине. Я слышал про нее: это колюшка – та самая, которая под водой строит гнезда! Очень хотелось подержать ее в аквариуме и посмотреть, как она это делает.

Я придумал, из чего можно было сделать добротную снасть. Из майки. Я завязал один ее конец узлом, потом зашел в реку и, касаясь щекой воды, быстро провел «сеть» у самого дна, поднял ее и с нетерпением заглянул внутрь.

Чего в ней только не было! И маленькие, но уже круглые и блестящие, как никелевые монетки, лещи, и пятнистые, длинные, как макаронины, щиповки, у которых под каждым глазом выдвигалось острое и прозрачное, как кусочек стекла, лезвие, и полосатые окуньки, и забавные щурята, совсем не страшные из-за своих крохотных размеров. Попадались и бычки-бубыри. Я их переворачивал, чтобы рассмотреть их круглые, похожие на присоски плавнички на брюшке.

Среди прядей водорослей, по которым ковылями неуклюжие, как марсоходы, водяные скорпионы, и где причудливо выгибались тонкие личинки стрекоз, среди серебристой толпы безликих мальков лежал крупный (крупный, конечно же, для моей снасти, и неукротимо увеличенный моим восторгом) медно-красный линь.

Я с горечью подумал, что этого красавца придется освободить, так как родители наверняка не обрадуются моему желанию повезти его в Москву живьем.

С сожалением выпустив лinya в заросли водорослей, где он мгновенно растворился, я продолжил свой промысел. И к обеду в моей банке плавали с десяток колюшек.

Под вечер наше утомленное семейство медленно возвращалось домой по дороге, розовой в лучах заходящего солнца.

Все насекомые попрятались, ящерицы тоже; и следа не осталось от прохождения колонны рыжих муравьев. Лишь одинокая роза на безымянной могиле сохраняла свою безупречную свежесть и по-прежнему ярко пылала.

К нашей хате мы подошли в сумерках. Я едва успел пересадить свой улов в свежую воду, как позвали ужинать.

«Вечеряли» во дворе уже в такой темноте, что тарелки еле различались, а спелые помидоры казались зелеными. Настоявшийся к вечеру бабушкин борщ был восхитителен, особенно если макать в него куски паляницы.

Потом меня отправили спать.

Но заснуть я никак не мог – мне казалось, что кто-то ходит по крыше.

Я встал и наощупь выбрался наружу. В сенях мимо бесшумно проскользнула невидимая кошка, нежно и совсем не страшно коснувшись моей ноги пушистым хвостом.

Я прислушался: на крыше действительно кто-то изредка топал ногами. Я, вдоволь набоявшись, наконец, понял, что это падают абрикосы. А потом услышал, что и под старой шелковицей словно идет редкий дождь.

На небе сияла луна, такая огромная и такая яркая, что казалось – какое-то одноглазое чудовище, не мигая, смотрит сверху.

Побеленная стена хаты светилась, как экран кинотеатра. На ней маленький богомол, словно танцуя, охотился за комарами: пробежка, остановка, медленное отведение сложенных хищных лапок два раза влево, два раза вправо – затем бросок на жертву.

Повсюду звенели сверчки-трубачики, где-то горестно выла собака, да на окраине села женский голос кого-то звал, протяжно и мелодично.

Я отодвинул плетеную калитку и вышел на улицу. Все дома стояли темные, только вдалеке тускло краснело окошко.

На просторе сияние луны было настолько ярким, что она казалась совсем одинокой в бездонном черном небе.

От сада начинало веять прохладой, все запахи огорода перебивал сладковатый аромат нагретых помидоров и терпкий – полыни, а какой-то невидимый придорожный куст, гремевший от хора живущих там трубачиков, благоухал смесью липы и одуванчика.

Я побрел по середине улицы, старательно ставя ступни на вершины серебристых пылевых гряд.

Размышляя о том, что, наверное, и лунный грунт такого же цвета, я оглядывался, наблюдая за тем, как невесомая сухая жидкость осторожно затекает внутрь человеческих следов, медленно размывая их очертания.

Когда, возвращаясь, я открывал калитку, над моей головой скользнул, шуршащий как пламя свечи на ветру, кожан. Потом он снизился, зигзагами понесся над серебристой дорогой и, наверное, на целых тридцать шагов я мог различать его синюю метущуюся тень.

Ротонда

Николай Николаевич закончил разбирать груды позеленевших от времени монет, подаренных музеем местным нумизматом-любителем, и взглянул в окно. Светало. Подросшие поджарые соседские цыплята, которых хозяева не кормили принципиально, стали разбредаться от уличного фонаря, где они еще с вечера несли вахту, ожидая, когда сверху на землю свалится очередная ночная бабочка. Тогда к несчастному насекомому с динозавровым топотом неслось стадо бройлеров-переростков.

Николай Николаевич аккуратно закрыл чернильницу, вытер перо о специальную предназначенную для этого кожаную подушечку, вышел на улицу и потрогал одну из шести стройных колонн ротонды. Белая краска почти высохла. Николай Николаевич вернулся к себе в музей, посмотрел в старинное мутное зеркало, обрамленное резной деревянной рамой (в зеркале отразился сероглазый остроносый худощавый человек с коротким ежиком седеющих волос), прилег на пустую кушетку (на соседней лежал Обломов) и, довольный тем, что успел сделать за ночь, закрыл глаза и стал засыпать.

В это время под раскрытым окном его учреждения на улице Верхняя Лупиловка в селе Ново-Чемоданове (Николай Николаевич, сколько не бился, никак не мог выяснить этимологию названий родной улицы и родного села, а, кроме того, он никак не мог обнаружить в окрестностях село Старо-Чемоданово или хотя бы просто Чемоданово, а ведь где-то такое должно быть!), так вот, на улице Верхняя Лупиловка раздался сначала барабанный грохот, и затем и вой горна. Причем по звукам можно было определить, что барабан драный, горн мятый, а барабанщик и трубач – никудышные музыканты.

Николай Николаевич приподнялся на своей кушетке и выглянул через плечо Обломова в окно. По Верхней Лупиловке шел небольшой отряд тимуровцев, все в красных галстуках, а у двоих были те самые музыкальные инструменты. Ими тимуровцы созывали своих соратников – с утра совершать добрые дела.

Но сегодня добрые дела им не дал свершить (по крайней мере, на Верхней Лупиловке) механизатор дядя Петя Рассолов. Час назад дядя Петя вернулся с ночной смены, надеясь выспаться. А тут ему как раз и помешали ударные и духовые.

Рассолов в одних трусах выскочил на улицу, схватил первое, что ему подвернулось под руку (а подвернулись ему грабли), и страшными механизаторскими ругательствами рассеял отряд пионеров.

Николай Николаевич облегченно вздохнул и прилег на кушетку. Он подмигнул пристально смотревшему на него Обломову, перевел взгляд на портрет его создателя, затем закрыл глаза и заснул.

Спокойно ему удалось поспать целых три часа. В восемь Ново-Чемоданово начало просыпаться: с реки послышалась оглушительная песня Аллы Пугачевой. Это по Липовке шла рейсовая баржа, забиравшая из местного карьера щебень.

На барже включали музыку не из любви к эстраде: на фарватере, где был самый клёв, стояли рыбацкие лодки. У капитана был выбор: либо посадить баржу на мель, либо утопить рыбака, либо согнать его с фарватера. Сегодня капитану, очевидно, попался особо упрямый (или просто глуховатый) рыболлов, потому что Пугачева неожиданно прервала своего «Арлекино» и на всю реку, а также на всё Ново-Чемоданово (усилитель на барже был мощный) раздалась изошренная речь начальника корабля, предлагавшего рыбаку отгрести в сторону. Судя по тому, что Алла Борисовна вскоре продолжила петь, путь барже освободили.

Николай Николаевич встал, умылся из медного рукомойника (Архангельская губерния, конец XIII века) и прошелся по своему музею.

Владения Николая Николаевича располагались в старинном двухэтажном купеческом особняке. Прежний хозяин этого дома был, вероятно, любителем античных мифов, потому что из своего жилища он создал настоящий трехмерный лабиринт из множества комнат, соединенных кривыми узкими коридорчиками и крутыми лестницами.

Любой другой музейный работник ужаснулся бы от такого помещения, но Николай Николаевич был от него в восторге. Он был художественной натурой (хотя в его вузовском дипломе в графе «профессия» стояло «философ»), и поэтому экспозиция у него была совершенно бессистемной, но зато очень запоминающейся.

В одном полуосвещенном проеме посетителей пугало чучело неандертальца, из другого скалил зубы череп медведя, под лестницей была устроена русская дыба с муляжом истязаемого, в узком проходе друг напротив друга висели две шинели времен гражданской войны – одна красноармейца, другая – добровольческой армии.

Большую залу украшала огромная картина, выменянная Николаем Николаевичем в краеведческом музее заполярного поселка Лабытнанги. Живописное полотно называлось «Ленин на Таймыре». На нем был изображен вождь мирового пролетариата в зимней тундре: Владимир Ильич в кухлянке, стоя на нартах, держал речь перед ненцами, оленями и ездовыми собакам.

Наконец, несколько комнат были декорированы раскрашенными скульптурами из папье-маше, изготовленными лично Николаем Николаевичем.

Так, в той самой коморке, где ночевал сегодня Николай Николаевич, на соседней с ним кушетке как раз и лежало произведение краеведа, облаченное в настоящий гражданский мундир того времени: Обломов, приподнявшись на локте, всматривался в стоящее напротив большое купеческое трюмо. Над трюмо висел портрет литературного отца Обломова – Ивана Александровича Гончарова. Так Николай Николаевич наказал писателя за его трактовку (однобокую, на взгляд дипломированного философа) образа русского интеллигента.

В многочисленных комнатках и клетушках, чуланах и чуланчиках, кривых коридорах и коридорчиках располагались ряды самоваров, утюгов (среди них выделялся пудовый гигант позапрошлого века, предназначенный для разглаживания голенищ солдатских сапог), навесных замков, огромных ключей, весов и гирь, вологодских и архангельских прялок, водочных штофов, икон, настенных часов, старинных бумажных денег, темных картин, пицалей, монет, алебард и битых горшков – всё то, чем гордится любой краеведческий музей.

Николай Николаевич взглянул на ходики (Тверская губерния, конец XIX века). Стрелки показывали девять, – то есть до открытия местной поликлиники был целый час.

Ночью Николаю Николаевичу пришлось поднимать тяжести, и у него прихватило поясницу, да так что надо было идти к врачу.

Николай Николаевич вышел во двор, загнал свой грузовой велосипед в сарай, потрогал белоснежную колонну ротонды. Краска совсем высохла. Потом он вернулся в особняк.

В одном из чуланов краеведческого музея размещалась коллекция монет. Денег на музей поселок не выдавал, и Николай Николаевич во всем обходился подручными средствами. И в нумизматическом чулане вся коллекция (среди которой светился надраенный зубным порошком древнегреческий серебряный статер с головой Пана на аверсе и Химерой на реверсе) была просто посажена на бревенчатую стену с помощью пластилина.

Одно место пустовало – исчез огромный красный екатерининский медный пятак.

Николай Николаевич кряхтя (тяжелая ночная работа еще раз напомнила о себе болью в пояснице) нагнулся, пошарил по полу, нащупал там пропажу, затем, разгладив и разогрев пластилиновую нашлепку рукой, вернул беглеца на место.

Потом краевед взял оселок и с любовью подправил лезвие бердыша (Рязань, середина XVII века), снял со стены безжалостно расшерленный милицией огромный револьвер (конец XIX века, Северная Америка, флотский образец) и бережно взвел курок. Хорошо смазанный механизм аппетитно чавкнул.

Только Николай Николаевич повесил оружие на место, достал с притолоки ключ и направился было к старинным английским часам, как с улицы, вернее со двора соседского дома раздался крик. Николай Николаевич положил ключ на место и выглянул в окно.

На завалинке сидел сухопарый старик по прозвищу Хлест. Во рту у Хлеста была огромная самокрутка, а в руке – кипятильник. Спирали кипятильника разошлись, и издали казалось, что в общем-то не сентиментальный Хлест (за какие-то грехи он в свое время отсидел шесть лет и с того времени у него сохранился знак – татуированные веки) держит в руках огромную серебристую хризантему. Хлест бережно приложил «козью ножку» к «хризантеме» и самокрутка тут же задымилась.

Экономивший на спичках Хлест производил эту процедуру молча, зато голосила переживающая за кипятильник бабка, так сказать, супруга Хлеста, она же – хозяйка бройлеров. Николай Николаевич с интересом посмотрел на Хлестову супружницу – не из-за того, что у нее был пронзительный голос (к нему краевед давно привык), а потому, что утреннее солнце окрасило ее лицо в необычайно яркий апельсиновый цвет.

Хлест, раскурив самокрутку, хладнокровно выдернул вилку кипятильника из розетки, отдал отключенный электроприбор по-прежнему орущей бабке, взял удочки, открыл калитку и вышел на улицу.

Беззаботно шедшее ему навстречу стадо коз при виде рыболова мгновенно развернулось и ускакало прочь. Хлест, дымя самокруткой, чуть скривил рот в улыбке и направился к реке.

Но тут путь ему преградили два местных мужика-мелиоратора.

– Хлест, ты трубы не брал? – спросил один.

– Не брал. А какие трубы?

– Ну, наши. Десятидюймовые.

– И эти не брал. На хрена они мне? У меня бабка огород поливает. Из колодца.

– Какая-то сука шесть труб ночью с поля уволокла. И следов никаких нет. Только велосипедные. Ну не на велосипеде же их уперли? А у нас из-за этого «Фрегат» простаивает. И поле не полито. Придется на базу ехать. Ты их точно не брал? А может, знаешь, кто брал?

– Не нужны мне ваши трубы. И кто брал их – не знаю. И вообще некогда мне. Пашка сказал – вырезуб брать начал. Так что я на реку. Покедова.

– Прощай, – сказали мелиораторы.

Они на всякий случай заглянули во двор Хлеста, потом равнодушно скользнули взглядами по белой стройной ротонде, совсем недавно появившейся во дворе краеведческого музея, и пошли по Верхней Лупиловке дальше, расспрашивая всех встречных о трубах и с надеждой заглядывая за заборы односельчан.

Николай Николаевич снял свой синий рабочих халат, надел пиджак, вышел во двор, еще раз любовно погладил колонну ротонды и направился в центр Ново-Чемоданова.

Навстречу ему шло стадо коз. Животные боязливо обошли штакетник, огораживающий двор Хлеста, и весело устремились дальше по улице, прыгая через канавы.

Надо заметить, что вся Верхняя Лупиловка была перекопана не очень широкими и не очень глубокими поперечными рвами. Жители Нижней Лупиловки завидовали верхнелупиловцам потому, что их улица была магистральной – там проходили транзитные грузовики, везущие полезные (а иногда и очень полезные) грузы. Зная это, верхнелупиловцы провели специальные землеустроительные работы. Поэтому залетевший в Ново-Чемоданово грузовик даже на самой малой скорости так трясло, что часть везомого добра оказывалась на земле, а впоследствии – в закромах сельчан.

Но и верхнелупиловцы и, конечно же, нижнелупиловцы черной завистью завидовали бабке, жившей на краю села. Как раз у ее дома дорога делала настолько резкий поворот, что примерно раз в неделю к ней в огород влетала машина. И бабка брала с каждой штраф за потравленную зелень. А потом, когда автомобиль уезжал, разравнивала огород и засаживала

его припасенной рассадой – до следующей жертвы. Бабка настолько поднаторела в этом бизнесе, что стала прекрасно разбираться в марках машин, а по ним уже судила о платежеспособности водителя. Так с «запорожца» она взимала сотню рублей, с лендровера – сотню баксов.

Николай Николаевич задумчиво брел в поликлинику, механически перепрыгивая через канавы (из одной ее хозяйин собирал в ведро свежепойманную картошку).

С крутого берега, по которому проходила Верхняя Лупиловка, была хорошо видна Липовка. На фарватере стояло с десятков рыбацких лодок (в какой-то из них ловил своего вырезуба и Хлест).

Зады верхнелупиловских дворов выходили на берег Липовки, и поэтому весь склон представлял собой чередование зеленых огородов и пестрых помоек. У некоторых сараев виднелись холмики створок перловиц – словно кухонные кучи древних полинезийцев. Жители Ново-Чемоданова откармливали своих свиней и кур этими моллюсками (а злые языки из соседних сел утверждали, что чемодановцы тайно едят мягкотелых и сами).

Рядом с каждой помойкой по всему крутому берегу реки виднелись ладные скамейки. Все они были не в пример заборам тщательно выкрашены (преобладали зеленые и голубые цвета), и к каждой шла, аккуратно обходя навозные кучи, тропинка, иногда заботливо и даже со вкусом выложенная плитняком. Верхнелупиловцы любили после трудового дня отдохнуть, посмотреть на свою Липовку, на обширные заречные поля, прислушиваясь, однако, не идет ли по ловчей улице грузовик, сбрасывающий в канавы плату за проезд.

Так, не торопясь, Николай Николаевич добрался до центра Ново-Чемоданова. Здесь Верхняя Лупиловка была заасфальтирована. На этом покрытии перед входом в школу виднелась обширная, выполненная мелом надпись «военрук – козёл».

Николай Николаевич перешагнул через букву «ё», мысленно соглашаясь с изложенным на асфальте тезисом. На прошлой неделе ретивый военрук заставил всех учеников под угрозой «пары» постоянно носить в портфелях и ранцах обязательный набор жизненно необходимых предметов на случай внезапно разразившейся ядерной войны. Туда входили: марлевая повязка, спички, свечка, рыболовные крючки и 20 метров лески, иголка, нитки, а из медицинских средств – димедрол, активированный уголь и презерватив. Когда же недоуменные родители спросили, зачем последний, действительно нужный предмет необходим и первоклассникам, военрук объяснил, что это – самый удобный, не занимающий в свернутом состоянии места сосуд для хранения суточной нормы питьевой воды.

Перед этим аргументом родители спасовали, но выразили свой протест на асфальте.

Николай Николаевич, миновав местный мясокомбинат «Пионерский», пройдя мимо столовой, в которой было всегда одно и то же дежурное блюдо «Плов узбекский – вермишель со свиной», наконец добрался до поликлиники.

Краевед, мысленно крестясь, прошел мимо кабинетов стоматолога и хирурга и сел в очередь к терапевту.

А боялся этих кабинетов Николай Николаевич не зря.

Ныне гражданский хирург, орудовавший в Ново-Чемоданове, в свое время был военно-полевым врачом, прошедшим афганскую кампанию. Больше всего на свете он боялся гангрены. Поэтому по законам военного времени он у чемодановцев по возможности отрезал всё и до конца.

Кроме того, хирург прославился по-военному краткими и четкими диагнозами, которые вносил в истории болезней своих пациентов, типа «обожжено левое полукопие и яйца разбиты о Большую Лупиловку» (последствия местного ДТП), «каждая грудь весом по семь килограмм» (заключение после маммологического осмотра пациентки).

Неожиданно для себя Николай Николаевич оказался в очереди к терапевту рядом с супругой Хлеста. К удивлению краеведа и здесь, в полутемном коридоре, ее лицо по-прежнему казалось ярко-оранжевым.

Николай Николаевич по специальности не был врачом, а был философом. Но даже он понял, что у Хлестихи какая-то опасная болезнь, поэтому на всякий случай отодвинулся от нее подальше, оказавшись рядом с владельцем гипсовой повязки на руке.

Николай Николаевич знал его. Это был местный пастух. От обычных пастухов этот отличался своей ленью (он даже мочился, не сходя с лошади). А, кроме того, он был отъявленным браконьером.

Николай Николаевич в силу своей интеллигентности не стал приставать к соседу с расспросами, как ему удалось остаться с целой конечностью, несмотря на то что он уже по крайней мере один раз посещал страшный кабинет хирурга.

Но загипсованный пастух рассказал свою историю сам.

Оказывается, браконьер прибегал к огнестрельному оружию только в крайнем случае, чаще используя капканы и петли. А вот крайний случай как раз и привел его к тяжелому повреждению руки и к легкой контузии.

Инцидент произошел три недели назад. Уже под вечер пастырь, сидя на своей кобыле, гнал стадо домой. Вернее, умные коровы и бычки сами шли в село, а пастух ехал сзади. И в это время он увидел дикого кабана, подвинка, спокойно кормящегося в кукурузе. У ново-чемодановского ковбоя в душе стали бороться две мотивации: природная лень и неумная жажда свинины. Компромисс был быстро найден. Пастух достал из чересседельной сумы ружье, собрал его и для более точного прицеливания положил ствол на голову лошади. Он уже стал медленно тянуть курок, но, заметив, как справа и слева от ствола заходили настороженные лошадиные уши, подумал, что ко всему привычная кобыла (давно смирившаяся с тем, что с нее справляют малую нужду), на этот раз может испугаться. И в этом случае природная лень подсказала правильное решение. Кабальеро не стал спешиваться, но достал все из той же чересседельной сумы телогрейку, положил ее на темя животного так, чтобы рукава закрывали уши, и, приладив ствол ружье на покрытую лошадиную голову, прицелился и выстрелил.

Охотник-пастух очнулся в той же кукурузе, где всё это началось. В пяти метрах от него, воткнувшись стволом в чернозем и поддерживаемая стеблями маиса, стояла одностволка.

Ни стада, ни кобылы, ни телогрейки, ни кабана в окрестностях не наблюдалось. Судьба последних двух так и осталось неизвестной. Стадо же самостоятельно добралось до поселка, где коровы безошибочно разбрелись по родным дворам. Насмерть перепуганную кобылу поймали только через три дня, а сам пастух этим же вечером оказался в лапах у полевого хирурга. Тот, сказав, что контузия пройдет сама, и с сожалением констатировав, что перелом оказался несложным, а поэтому ампутация не состоится, компенсировал ее чудовищным количеством гипса, в которое была упрятана рука пострадавшего.

Как только пастух закончил свое повествование, двери кабинетов хирурга и терапевта почти одновременно открылись и проглотили рассказчика, и супругу Хлеста.

Николай Николаевич остался в одиночестве. Чтобы как-то его скрасить, он стал смотреть в полуоткрытую дверь стоматологического кабинета. Там всюду шел лечебный процесс. Понаблюдав с минуту за несчастным, находящимся в кресле дантиста, Николай Николаевич искренне порадовался, что у него не болят зубы, и поклялся себе, что к местному стоматологу (впрочем, как и к хирургу) он ни при каких обстоятельствах обращаться не будет.

Бормашина была настолько древняя и маломощная, что сверло периодически застревало в зубе. Тогда дантист, остановив орудие пытки, извлекал бор вручную. Иногда сверло падало на пол. В этом случае стоматолог, наскоро вытерев бор полой своего халата, продолжал работу. Больной в кресле иногда вздрагивал и кричал. Николай Николаевич сначала подумал, что это естественная реакция нормального человека на работающий сверлильный аппарат. Но, присмотревшись, он заметил, что пациент иногда орет еще до процесса бурения зуба. А однажды ойкнул и сам врач, в очередной раз поднявши сверло с пола и пытаясь вставить его в патрон

бормашины. Николай Николаевич догадался, что аппарат к тому же «коротит» на корпус и не только сверлит зуб пациента, но и бьет током.

Размышления Николая Николаевича о чудесах ново-чемодановской стоматологии были прерваны терапевтом.

С криком: «Приема на сегодня не будет, у меня очень опасный случай – крайняя форма желтухи, я везу больную в район!», – она выскочила из кабинета, таща за руку оранжевую супругу Хлеста.

Николай Николаевич посмотрел им вслед и покинул чемодановскую больницу, решив, что поясницу он сам вылечит горчичниками дома.

Путешествие назад по поселку прошло без приключений, если не считать того, что ему встретились мелиораторы и стали допытываться, не он ли часом взял их трубы. Николай Николаевич сказал, что не брал.

Дома все было по-прежнему. Уже вернувшийся с реки Хлест отдыхал на завалинке. В зубах у него была огромная «козья ножка». По старой зэковской привычке Хлест берег спички. Очевидно, кипятильник был хорошо спрятан, и Хлест прикуривал тем же способом, каким добывают огонь, когда открывают олимпийские игры, – то есть при помощи солнечных лучей. В руках рыболова была огромная лупа. Хлест с ее помощью заставил тлеть рукав собственной телогрейки, а уже от этого трута ловко прикурил. Судя по тому, что весь левый рукав был в черных дырках, словно простреленный картечью, Хлест и этим способом пользовался нередко.

Николай Николаевич спросил соседа о здоровье супруги. Хлест хладнокровно ответил, что жену отвезли в больницу.

– Наверное, съела что-нибудь, – сказал Хлест.

И, как потом выяснилось, он оказался прав.

На крыльце своего краеведческого музея Николай Николаевич заметил Володю. Володя был местным писателем-натуралистом. В Ново-Чемоданове он был известен, кроме всего прочего, и тем, что затаскивал пишущую машинку в лес, на луг или в поле и там, вдохновляясь окружающей его природой, громко выстукивал очередной шедевр. За этим занятием его заставляли и рыбаки, и пастухи, и грибники, и ищущие уединения парочки.

Кроме того, Володя прославился своими курортными романами. Каждый год он отдыхал на юге и там, как и положено художественной натуре, отчаянно влюблялся, спускал на свою очередную страсть все отпускные и возвращался в родное Ново-Чемоданово без копейки денег.

В прошлом году он настолько поиздержался на курорте, что добирался до дома зайцем на перекладных электричках. Но на полпути его высадила бдительный контролер. Володя в отчаянии стал побираться на каком-то вокзале, пытаясь разжалобить своей любовной историей тамошних обитателей. Колхозницы, торгующие у путей малосольными огурчиками и горячей картошкой, не давали ему ни копейки и не хотели слушать. Торговки государственными пирожками на перроне, наоборот, слушали его очень внимательно, постоянно переспрашивая и жадно ловя подробности его любовных переживаний, но тоже ничего не давали. Единственным человеком, который помог Володе, был вокзальный милиционер. Страж порядка, приказав писателю быть кратким, выслушал бедолагу, дал ему рубль и посоветовал побыстрее убираться с территории вокзала.

Помимо этого Володя был заядлым краеведом. Именно поэтому он и пришел к Николаю Николаевичу.

Вчера, путешествуя по окрестностям Ново-Чемоданова, Володя в старинной дворянской усадьбе (по советским неписаным законам в ней был устроен дом умалишенных) где-то на задворках, у развалин гигантской каменной бани, в густых зарослях крапивы обнаружил небольшой старинный паровоз.

Паровоз, хотя и был тронут ржавчиной, но прекрасно сохранился. Когда дело касалось краеведения, Володя оставлял все свои художественные фантазии. Вот и сейчас он представил

изумленному Николаю Николаевичу не только промеры найденного механизма и прилично выполненный рисунок, но даже еще не просохшую фотографию (правда, не очень хорошего качества, так как писатель делал свои снимки старенькой «Сменой»).

Николай Николаевич разволновался. Судя по огромной трубе, по разнокалиберным колесам, по отсутствию кабины и по немыслимому числу рычагов и ручек, это было если и не творение Ползунова и Черепанова, то наверняка одна из тех первых паровых диковин, которая когда-то ползала по «чугунке» Российской империи.

Николая Николаевича смутила только решетка скотосбрасывателя, словно сделанная из спинок никелированных кроватей, да и красные серп и молот («Явно советский новодел», – решил проницательный Николай Николаевич).

Николай Николаевич взял у Володи координаты паровозной психлечебницы с намерением в ближайшее время лично осмотреть реликвию. Он хотел было ехать туда немедленно, но вспомнил, что его именно сегодня пригласил в гости директор соседнего музея воздухоплавания.

Николай Николаевич, решив, что увидится с паровозом завтра, направился на окраину села – к автобусной остановке.

Музей воздухоплавания располагался в особняке старинной барской усадьбы (почему-то не отданной под лечебное заведение). Перед входом в усадьбу, украшенным настоящими мраморными колоннами (Николай Николаевич внимательно их осмотрел и даже пощупал), стояли огромные деревянные пропеллеры старинных самолетов.

Краеведа встретил сам директор музея – Егор Александрович – курносый, с проступающей лысиной сангвиник.

– Вам повезло, – сказал после рукопожатия Егор Александрович. – Как раз сегодня экскурсия из города приехала. Посмотрите, как мы принимаем гостей. Всё увидите и услышите. И о воздухоплавании и об этнографии. Воздухоплавание в национальном духе, так сказать.

В это время, действительно, к дорическим колоннам подошла группа экскурсантов. Из дверей барского дома выскочила высокая чернокобая наруганная девка в старинном русском сарафане и кокошнике и затараторила:

– Я – Марьюшка, прислуга в барском доме. Прежде чем войти в наши хоромы, милостиво прошу отведать нашего хлеба-соли.

С этими словами она скрылась за дверь. Довольные началом старинного русского приема экскурсанты остались ждать Марьюшку снаружи.

Но Марьюшка задерживалась. Зато рядом с Егором Александровичем возникла высокая молодая брюнетка в джинсах и легкой кофточке. Девица не была мастером макияжа – ее щеки были явно перегружены пунцовой крем-пудрой.

– Егор Александрович, – негромко сказала она директору, – беда. Хлеб-соль куда-то делись.

– Это не беда, – спокойно ответил хладнокровный Егор Александрович. – Я сегодня как раз мимо булочной проходил и хлеба домой взял. Вот он и пригодился.

С этими словами Егор Александрович открыл свой дипломат, достал оттуда буханку черного хлеба и передал ее густо крашенной девахе. Та схватила хлеб и за спинами ждущих экскурсантов стремглав побежала за угол особняка.

Николай Николаевич наконец узнал ее – ведь это она минуту назад в сарафане и кокошнике привечала гостей.

Вскоре дверь усадьбы снова открылась и Марьюшка, вновь одетая в старинный костюм, а вместе с нею и другой экскурсовод, пожилая дама, судя по костюму и по сюжету, – хозяйка особняка, вышли к гостям.

В руках Марьюшки был жостовский поднос, на котором и лежала буханка Егора Александровича.

– Марьюшка сегодня провинилась, закопалась, не успела вовремя дорогим гостям хлеба испечь. Великая это вина. Надо Марьюшку, негодницу, наказать, выпороть ее на конюшне. Будем пороть Марьюшку? – спросила экскурсантов «хозяйка».

– Нет, не надо, – нестройно заголосили добрые гости. – Простим ее.

Но Николай Николаевич услышал, как один, жадно посмотрев на яркую Марьюшку, негромко произнес:

– Будем!

Все экскурсанты (а с ними и два директора музеев) вошли в особняк.

В комнатах старинного дворянского гнезда было все как положено: портреты в рамках с облупившейся позолотой, напольные часы, пианино с неумело реставрированной фанеровкой, кресла и стулья, на которые, судя по всему, нередко присаживались и «хозяйка» и Марьюшка.

У самого входа висело старинное потемневшее зеркало, мутное, но лстящее дамам: все отражающиеся в нем фигуры были худыми и вытянутыми, как святые на картинах Эль-Греко.

Чтобы подчеркнуть, что это все-таки музей воздухоплавания, по углам комнат были представлены всё те же деревянные пропеллеры первых самолетов, макеты дирижаблей, воздушных шаров и парашютов, а на стенах – развешены старинные гравюры паровых аэропланов.

«Хозяйка» все это комментировала, а экскурсанты невнимательно, но вежливо слушали.

Так они добрались до главной залы, где в углу посапывал огромный самовар, а обширный стол был сервирован чашками, блюдами, тарелками с дымящимися блинами и плошками с вареньем и медом.

Рядом с фарфоровыми чашками почему-то стояли совершенно не гармонизировавшие с ними хохломские расписные деревянные стопки, а центр стола украшало огромное фарфоровое блюдо, доверху наполненное сосновыми шишками («Неужели и ими будем закусывать?» – с тревожным любопытством подумал Николай Николаевич).

– Дорогие гости, садитесь, угощайтесь блинками, чайком, медком, вареньем, да медовухой. Давайте румяные блинцы кушать да сказы-былины нашей бабушка Алины слушать, – заголосила Марьюшка.

– Ее родители, – кивнула «хозяйка» на почтенного вида старуху в пуховом платке и этнографической понёве, – знали владельца здешней усадьбы. Да и у нее память хорошая – все стародавние времена помнит.

Гости, Марьюшка, «хозяйка» и бабушка Алина расселись за столом. Налили чаю. А вот медовухи на столе не оказалось. Но и эту оплошность тут же поправили, на этот раз не предлагая гостям пороть Марьюшку: в глиняный кувшин, где должна была быть медовуха, из бутылки перелили водку. Экскурсанты, выпив ее из хохломских стопок, крикнули и стали закусывать блинами.

А сказительница начала свое повествование. Оно было образным и эмоциональным. Бабка, рассказывая о далеком прошлом, постепенно вспоминала такие детали, что, казалось, это не ее родители, а она сама близко знала теоретика отечественного воздухоплавания.

Вместе с гостями она ела блины, запивая их водкой, а после каждого глотка ее память прояснялась (несколько раз она обмолвилась о татарском нашествии так, как будто была его современницей). Но все-таки главным героем в ее рассказах был хозяин усадьбы.

– Хорошо жилось при барине! Хорошо! Не обижал он мужиков, нет, не обижал! Бывало, идет он по дороге, голову наклонил, ничего не видит, плащик теребит – ясно ведь, у него одна авиация в голове. А мужики к нему: «Барин, вся скотина сдохла!» А он их всех на свою ферму повел, чтобы им скотину выписали. Или после неудачной охоты заберется в овраг, где крестьянские куры пасутся, и ну палить по ним из двустволки. А крестьяне и рады – ведь за каждую курицу рубль серебром платил! Или делает деревянную раму, натянет на нее красный ситец, оденет на себя эти крылья и катается на велосипеде по дорогам – изучает свою аэродинамику всей деревне на потеху.

Подъезжая на рейсовом автобусе к родному Ново-Чемоданову Николай Николаевич подумал, что Егор Александрович, кроме всего прочего, очень неплохой режиссер. Зато он, Николай Николаевич – талантливый дизайнер и архитектор. И вот он не стал бы украшать стол сосновыми шишками, насыпанными в старинные английские фарфоровые блюда, и, конечно же, не стал бы подавать водку в хохломских стопках. Потом, решив, что каждому – свое, Николай Николаевич отказался от возникшей было мысли завести в краеведческом музее на Верхней Лупиловке свою Марьюшку в сарафане и кокошнике, а также бабушку Алину в понёве.

Николай Николаевич, подумав о сказительнице, водке и блинах, вспомнил, что у него дома нет хлеба, и зашел в продуктовый магазин, а уже оттуда направился к своему особняку с ротондой.

Но то, что происходило за забором Хлеста, заставило директора краеведческого музея остановиться.

В прошлом уголовник, а в настоящем – пенсионер и рыбак сидел на завалинке со своей неизменной самокруткой во рту. Перед ним стояла стреноженная коза, а Хлёт, шурясь от едкого дыма, напильником подпиливал ей передние зубы.

Николай Николаевич подумал, что второй раз за сегодняшний день ему удастся наблюдать за стоматологическим процессом. И неизвестно, который из них был страшнее.

Хлёт стесал зубы жалобно блеющей козы настолько, насколько он считал нужным, развязал несчастное животное и со словами: «А теперь иди, милая», – вытолкнул его через калитку на улицу. Он посмотрел вслед козе, которая галопом ускакала по Верхней Лупиловке, оглянулся, увидел Николая Николаевича и сказал:

– Ну вот, теперь вишенка моя цела будет.

И дантист-любитель, сидя на завалинке, поведал Николаю Николаевичу историю про вишенку и козу.

Хлёт был в большей степени рыболовом, меньше – охотником, и еще в меньшей степени – садоводом и огородником. Но годы брали свое, он с возрастом становился все сентиментальнее. Год назад Хлёт впервые в жизни посадил дерево – вишенку. Посадил он ее у себя во дворе, у забора, там, где было больше света. Вишенка принялась, она цвела и хорошела. Но как-то раз Хлёт увидел, как одна из коз, которых гоняли по Верхней Лупиловке, просунула свою противную козью морду сквозь штакетник и съела листочек с любимого деревца. Хлёт, конечно, шуганул козу, а затем, не мешкая, укрепил забор напротив вишенки. На следующий день коза, обнаружив это препятствие, встала на задние ноги и сумела-таки дотянуться еще до одного листочка.

Хлёт нарастил забор до трехметровой высоты, а кроме того стал подкарауливать коз, проходящих мимо его дома, и нещадно колотить их лопатой.

Через неделю у парнокопытных выработался условный рефлекс, и они сначала неторопливо брели по Верхней Лупиловке, но, поравнявшись с забором Хлеста, вихрем проносились мимо.

А сегодня случилось несчастье. Хлёт был на рыбалке, а его бабу в это время увезли в район, в больницу. И в открытую калитку проникла коза. Она не только съела листья с вишенки, но и обглодала кору. К ее (козе) несчастью именно в это время вернулся Хлёт. Он закрыл калитку, поймал во дворе животное и произвел ту самую стоматологическую операцию, которую и наблюдал оторопевший Николай Николаевич.

Краевед пошел к себе в музей. Он еще раз полюбовался на белые стройные колонны ротонды, отворил дверь бывшего купеческого особняка и зашел внутрь.

Николай Николаевич нежно провел пальцем по лезвию бердыша и пошел к себе в кабинет – в крохотную каморку, в которой помещались лишь письменный стол, стул, лампа да телефон. Он достал отчет Володи о доисторическом паровозе, окружил себя энциклопедиями по паровозному делу и принялся за работу. И чем больше он сравнивал найденный механизм с

литературными описаниями, тем больше убеждался, что Володе посчастливилось совершить настоящее открытие – ничего подобного ни в какой из книг не встречалось.

Николай Николаевич сделал набросок статьи (как человек честный и щепетильный, он включил в список авторов и Володю), а потом продумал, какие шаги надо предпринять для того, чтобы этот ценнейший образец древнего паровозостроения стал экспонатом именно краеведческого музея в Ново-Чемоданова (Николай Николаевич был уверен, что нахальные москвичи непременно захотят завладеть раритетом).

Николай Николаевич даже наметил, куда поставит паровоз – под навес у ротонды. Потом он составил список персон, к которым следовало обратиться по поводу происхождения паровой машины.

Первым в списке стоял главврач психлечебницы (который, понятное дело, ничего не мог знать об этом паровозе), последними были старожилы Ново-Чемоданова и окрестных поселков, в том числе и Хлэст.

Вспомнив о Хлесте, Николай Николаевич взглянул в окно. Он, к своему удивлению, увидел в соседском дворе супругу Хлеста. Хотя она по-прежнему была окрашена в необычный цвет цитрусовых, но ее оранжевое лицо выражало полное умиротворение.

Николай Николаевич еще полчаса проработал над статьей о паровозе, периодически прерываясь и размышляя о том, почему столь опасного инфекционного больного отпустили из больницы.

Но его творческий процесс был прерван: со знакомого двора раздался истошный крик Хлестовой супруги, а затем матерное рычание и самого хозяина.

В который раз за сегодняшний день Николай Николаевич выглянул в окно и увидел, как из дома рыболова сначала выскочила отчаянно визжащая Хлестиха, а за ней – Хлэст. Он был без обычной сигарки во рту, но зато с топором в руках.

Бабка, отворив калитку с воем: «Помогите, убивают!» – помчалась по Верхней Лупилке, а молчаливый, но вооруженный Хлэст – за ней.

Из проулка навстречу супружеской чете вышел живущий на Нижней Лупилке владелец козы. Скотовод был полон решимости выяснить, зачем Хлэст отпилил зубы у его животного. Но, увидев бегущую ему навстречу апельсинового цвета и орущую благим матом Хлестиху, а так же самого Хлеста с топором, развернулся и исчез в переулке.

Судя по крикам, Хлэст гнал ее метров сто. Потом он выдохся и вернулся домой. Здесь Хлэст выволок из дома во двор чистые, почти новые половики и с остервенением порубил их топором на мелкие куски.

Николай Николаевич по своим лабиринтам стал выбираться наружу, чтобы расспросить соседа о случившемся. Пока он шел, его философский ум работал, развивая различные версии. Самой правдоподобной для Николая Николаевича показалась следующая. У бабки в районе была выявлена какая-то неизлечимая, позорная болезнь (окрасившая ее в столь необычный колер) и Хлестиху отпустили домой – умирать. Узнав о том, что бабка ему изменяла, вспыльчивый ново-чемодановский Отелло решил ее наказать. В этой версии Николая Николаевича, правда, смущали две детали. Первая: бабка из района вернулась не угнетенная, а явно радостная. Вторая: а зачем Хлэст рубил половики? Неужели он служил престарелым супругам брачным ложем?

Размышляя над этим, Николай Николаевич вышел во двор. За забором у колоды, которая была украшенной пестрыми лоскутьями и воткнутом топором, стоял успокоившийся Хлэст и с наслаждением прикуривал от кипятильника. Электроприбор с хлопком перегорел как раз в тот момент, когда Николай Николаевич поприветствовал бывшего уголовника.

Хлэст не торопясь, посапывая вонючей «козьею ножкой», поведал Николаю Николаевичу, что его супруга, слава богу, здорова, а апельсиновый цвет ее кожи возник просто потому, что последние два месяца она питалась исключительно тыквами, а что же касается неболь-

шой размолвки, возникшей между ними, так это оттого, что сегодня его дражайшая половина, будучи в хорошем настроении (связанным с тем, что диагноз об опасном инфекционном заболевании не подтвердился), забылась, без разрешения проникла в его комнату и совершила там совершенно недопустимые и непростительные вещи: смела пыль со стен и потолка, вымыла пол, постелила на нем новый половинок, а потом разложила на рабочем (он же обеденный) столе все блёсны, грузила и крючки по отсортированным кучкам и самое страшное – добела вымыла любимую кружку, в которой Хлёт лично заваривал цифирь.

Поэтому и последовало небольшое внушение.

– Ну, ничего, – добавил Хлёт, – милые бранятся, – только тешатся. Вон бабка домойковыляет, – и рыболов махнул рукой в сторону Нижней Лупиловки. – А ведь как шустро бегать может! Как молодая!

Николай Николаевич вернулся к себе в музей.

Он бесшумно, как ниндзя, пробрался по темным коридорам к себе в кабинет, на ходу касаясь невидимых рукоятей алебард, эфесов шпага и мушкетных лож.

Краевед зажег свет, взглянул на часы и набрал номер телефона психлечебницы. Главврач был на месте. Поздоровавшись и представившись, Николай Николаевич спросил, не знает ли тот о происхождении первобытного паровоза.

– Ну что вы, это не черепановская модель. Да и не ползуновская, – сказал главврач. – Это мои пациенты в позапрошлом году делали. В качестве трудотерапии. К нам тогда попало сразу 12 человек из какого-то закрытого НИИ. Все с высшим техническим образованием. И все не то чтобы буйные, но, скажем так, очень активные. Ну вот, чтобы их как-то отвлечь и чем-нибудь занять, а заодно очистить территорию от металлолома (у нас тут целая свалка была – знаете, старые машины, холодильники, пылесосы), мы им предложили из этого что-нибудь соорудить. Вот они и сделали паровоз. Не настоящий, конечно (хотя у них и такая идея возникла, но я им не разрешил), а его модель. Без сварки, конечно. Я, знаете ли, все-таки побоялся им сварочный аппарат доверить. Получилась модель паровоза в представлении, так скажем, технически грамотных, но не очень уравновешенных в душевном плане людей. Но колеса крутятся. Другие пациенты нашей клиники, не столь интеллигентные, как творцы этой машины, даже толкали паровоз по территории учреждения. По асфальту, конечно. А самый спокойный контингент изображал вагоны. Так что, к сожалению, должен вас огорчить. Это не Черепанов и не Ползунов.

Поблагодарив за столь исчерпывающую информацию о происхождении паровоза, расстроенный Николай Николаевич с грустью посмотрел на почти готовую статью и отодвинул ее на край стола.

Муха колотилась о мерцающую люминесцентную лампу в полутемном коридоре, и та нежно звенела, как старинный хрустальный бокал.

Краевед взглянул в окно. Вечерело. По двору Хлеста три бройлера с телосложением борзой гоняли такого же четвертого. В клюве преследуемого висел мышонок, которого птица судорожно пыталась проглотить.

Николай Николаевич откинулся на спинку стула и задумался. Завтра в 10.00 музей открывался для посетителей; надо было подготовиться к экскурсии. А кроме того, ему очень понравились дорические колонны у входа в музей воздухоплавания. Николай Николаевич хорошо знал, где ночью можно раздобыть еще пару труб, которые, если их поставить вертикально и покрасить белой краской, будут полностью соответствовать всем канонам этого античного ордера.

Метис

«Ямаха» – не чета «Бурану». Тот давно бы заглох в березовом чапыжнике, у него на подъеме оборвался бы вариаторный ремень, а скорее всего он вообще бы в мороз не завелся.

«Ямаха» все эти горно-таежные невзгоды переносила отлично. А кроме того, на равнине развивала такую скорость, что никакому «Бурану» и не снилось. Недаром настоящие охотники никогда не гоняли на них зайцев и лис – у зверей никаких шансов на спасение не оставалось, когда по снежной целине за ними летела машина со скоростью под 100 километров в час.

Импортные «Ямахи» берегли. Их использовали только для особых охот. Как сейчас – для погони за волками.

В окрестностях города оставалась последняя стая. Последняя из трех.

Волки вокруг города были всегда. Но если в прошлом звери промышляли в основном косуль, лосей и маралов, то в этом году уже с осени из окрестных деревень стали приходиться вести о зарезанных козах, овцах, телятах и украденных собаках.

Егеря и охотоведы это объясняли просто – прошлая зима была суровая, много диких копытных погибло, и волки оголодали.

Как только лег снег, все три стаи быстро обнаружили по следам и две из них уничтожили.

Одну заметили в поле, вызвали вертолет и расстреляли с воздуха. Всего тогда добыли 11 зверей. На вторую стаю (там было семь волков) времени ушло больше. Ее трижды окладывали флажками, постепенно выбивая зверей. Последних двух волков из этой стаи догнали на снегоходах на льду замерзшей реки.

А вот за третьей, небольшой (в ней было всего четыре волка – двое взрослых и двое переярко) гонялись почти до самого Нового года.

Эта стая просачивалась через оклады, от вертолетов пряталась в ельниках, от снегоходов – в березовых чапыжниках или в гольцах и по-прежнему кормилась у деревень: зарезала лошадь, пару овец и несколько собак.

Сегодня одному из охотников повезло. Он, выехав на «Ямахе» на окраину верхового болота, заметил, что вожак неосмотрительно рискнул перевести зверей через марь. Наст был плотный, и волк, видимо, полагал, что замершее болото они на махах проскочат быстро.

Но он ошибся. «Ямаха» по такому насту «выдавливала» все сто двадцать. И уже через минуту охотник был рядом.

Загремели выстрелы. Один из переярко упал. Тогда вожак развернулся, бросился на стрелявшего, сидевшего в снегоходе, и, тоже сраженный пулей, ткнулся в снег рядом с машиной. А матерая волчица и последний молодой, как будто осознав, что у них было всего несколько секунд – как раз те несколько секунд, когда охотник вставлял в карабин новую обойму, успели отбежать на сотню метров.

Охотник передернул затвор и выстрелил. Переярок закрутился на снегу. Охотник, не обращая на него внимания, стал стрелять по волчице. Она металась из стороны в сторону, тем не менее, стремительно сокращая расстояние до спасительного ельника. Оставалось всего несколько метров, когда после очередного выстрела волчица упала, но тут же вскочила и скрылась между деревьями.

Охотник подъехал к переярку и добил его. Потом подогнал «Ямаху» к тому месту, где падала волчица. Крови не было.

Следы одинокой волчицы не встречали нигде – ни в тайге, ни на верховых болотах, ни в гольцах. И охотники решили, что она ушла. Тем более, что и скот у крестьян перестал пропадать. Только у одного промысловика исчезла лайка. Заблудились в тайге, наверное.

Но волчица никуда не делась. Она жила на окраине города, промышляя на свалках, кормясь отбросами и здесь же ловя бродячих собак. Перемещалась она исключительно ночью по

дорогам. Поэтому охотники следов ее не видели. Несколько раз она попадалась на глаза горожанам, но те по неопытности принимали ее за потерявшуюся овчарку. Один даже бросил ей из жалости бутерброд с колбасой. Но она, боясь быть отравленной, угощение не тронула.

Настал февраль – месяц волчих свадеб, но волчица оставалась одинокой. Сколько она ни прислушивалась по ночам, знакомого воя ниоткуда не доносилось. Два раза она сама пыталась звать собратьев. Но в ответ на ее голос бешено забрехали собаки не только всех окрестных деревень, но даже послышался громкий бас ньюфаундленда, жившего на балконе многоэтажного дома.

Кавалеров у нее не было, если не считать одного сладострастного кобелька – старого спаниеля, такого жирного, что волчица не голодала целую неделю.

Пришла весна, потеплело, земля очистилась от снега. Теперь волчица безбоязненно ходила и по лесу, и по лугам, и по полям, не опасаясь, что ее выследят.

Летняя жизнь стала более сытой – волчица ловила мышей, задавила двух оленят, а кроме того и на знакомой свалке, тоже освободившейся от снега, корм стал более доступным. Но через неделю там появились конкуренты – стая одичавших собак. Зимой они держались у гаражей, стройплощадок и вокзалов, где их подкармливали, разгоняя скуку, сторожа. А весной псы ушли из города и, объединившись, стали жить на свалке.

Собаки были разномастными, косолапыми и коротконогими дворнягами. Тем не менее, собачья банда представляла для нее реальную угрозу, так как дисциплинированная свора действовала как единое целое. Но, конечно же, не так организованно, как волчья стая.

До настоящей схватки не доходило. Один раз ей пришлось придавить горло одному наглomu кобельку (ему повезло, что это случилось сытым летом, а не голодной зимой, тогда бы ее челюсти сработали с полной нагрузкой) и серьезно порвать плечо достойному противнику – крупному псу, отдаленному потомку западносибирской лайки.

После этого стая обходила ее стороной, облаивая только издали. А волчица покинула свалку и стала охотиться у деревень.

Логово она устроила, расширив старую лисью нору на крутом берегу небольшой речки, прямо за околицей.

Волчица к своей норе никогда не ходила напрямик. Чтобы не оставлять следов, она сначала шла по мелководью, оттуда прыгала на большой прибрежный камень, потом – еще один прыжок через стену крапивы, а дальше, уже по натоптанной, но скрытой бурьяном тропе – к своему дому.

Прямо из норы она слышала деревенские звуки – мычание коров, бляенье коз, кудахтанье кур, скрип колодцев и ворот, урчание автомобильных моторов и человеческую речь. Оттуда ветер доносил до нее запахи: опасный – машинного масла, теплый – дыма и аппетитный – скотного двора.

Но она, чтобы не выдать себя, не охотилась у этой деревни, предпочитая ходить за несколько километров к соседним.

Лишь однажды она не сдержалась, и это чуть не погубило ее.

Одна глупая курица забрела далеко за околицу. Добыча была столь заманчивой, что волчица, забыв об осторожности, подкралась к белому пятну, копошащемуся в кустах, бросилась на курицу и задавила ее. Все произошло молниеносно и бесшумно (сказывалась практика охоты на глухарей и тетеревов), и волчица с добычей неслышно по кустам заскользила к речке.

И здесь произошло непредвиденное. Она, как всегда, неслышно брела по мелководью. Перед тем как прыгнуть на знакомый камень, она обернулась и вздрогнула от неожиданности. Напротив, на другом берегу речушки, сидел мальчик с удочкой. Волчица на секунду замерла, затем вскочила на валун и уже известным приемом перемахнула через заросли крапивы. Но в нору не пошла, а, положив на землю злополучную курицу, залегла на тропе. А с реки донесся детский крик:

– Папа, папа, я волка видел! С курицей!

Послышались шаги.

– Какого волка? – раздался мужской голос.

– Серого. Как в сказке. И с курицей в зубах.

– А Иван-царевич на нем не сидел?

– Иван-царевич не сидел, а курица была.

– Фантазер! Волки в тайге водятся, а здесь деревня. Лови лучше рыбу, или вот что, пошли обедать. Бабушка уже все приготовила.

И шаги двух человек – большого и маленького – вскоре затихли.

Волчица облегченно вздохнула, подняла с земли еще теплую курицу и побрела к своей норе – тоже обедать.

Прошло сытое лето. Волчица, несмотря на соблазн, не трогала на околицах глупых подросших беззаботных петушков (которые к холодам все равно попадут под нож) и даже подружилась с двумя деревенскими песиками (на случай голодной зимы).

Наступила осень, землю припорошил первый снег. Волчица снялась с насиженного места, и, чтобы ее вновь не вычислили по следам, опять было перекочевала к городу, к свалке.

Там она встретили знакомую собачью стаю. Стая увеличилась и взматерела. Из нее исчезли почти все мелкие шавки, зато прибавилось крупных псов. И самое главное – сменился вожак. На месте бывшего лайкоида теперь царствовал огромный кобель, в котором угадывалась кровь и немецкой овчарки и добермана.

Волчица поняла, что это серьезные конкуренты, что с ними лучше не связываться, и ушла с кормной свалки к своей деревне. Там она сначала съела своих знакомых кавалеров, а затем по ночам стала мышковать, разрывая на полях скирды соломы.

Собачья стая со свалки нашла ее сама. Вернее не стая, а вожак. Следы выдали и ее, и, самое главное – ее состояние. Она приняла его ухаживание, так как это был единственный шанс завести потомство.

Он был с ней около недели, а потом ушел назад, на свалку. Пес повел себя по-собачьи, а не по-волчьи. Волк бы остался и помог ей выкармливать щенков. Но вожак был всего-навсего собакой, хотя и сильной, но собакой. Волчица знала, что может пойти с ним и ее там примут, но осталась в своем логове.

Ей, беременной, мышей уже не хватало, и она стала резать скотину.

В конце апреля в логове она принесла четырех щенков. Теперь ей приходилось промышлять чаще. Однажды она не удержалась и задавила старого козла прямо на околице деревни. Никто не видел, как она охотилась. Но когда она жадно ела, волчицу заметили из проезжающей машины и приняли за собаку. И рассказали об этом в деревне.

К ее несчастью в деревне у родственников гостил охотник. Волчатник. По имени Соломон. Вообще-то настоящее имя Соломона было Иван Иванович, а Соломон – просто его сельское прозвище, совершенно не отражающее особенности его характера. Соломон начисто был лишен предприимчивости. И к мудрецам его тоже нельзя было отнести. Зато у него был отзывчивый характер и золотые руки. В Сибирь он переселился из Ставрополя. Сначала, как водится, с желанием подзаработать, а потом привык и обосновался. Он был надежным работником – почти непьющим, безотказным и знающим или быстро осваивающим практически любую специальность – от моториста до строителя мостов. Ухватистость помогла ему уже через несколько лет стать к тому же еще и знаменитым охотником. Промысел копытных он освоил быстро, а потом несколько лет занимался почти исключительно медведем, закончив охотиться на «хозяина тайги» когда в окрестностях не осталось косолапых, и, наконец, перешел на самого трудного зверя – на волка. Он настолько изучил повадки этого чрезвычайно умного хищника, что одинаково успешно охотился на облавах, капканами и на приваде.

Научился Соломон находить и волчьи логова. Делал он это настолько виртуозно, что однажды несказанно удивил даже опытных промысловиков. Летом Соломон на неделю подрядился работать в рыболовецкую бригаду. С ним в вертолете на одно из тундровых озер летело четверо охотников. Пока вертолет кружил над озером, Соломон, высунув голову в иллюминатор, приметил пару логов, где, по его представлениям, должны были обитать волчьи семьи. Вертолет сел у рыболовецкой базы. Охотники пошли выпивать, рыбаки – принялись, было, перебирать сети и невода, но быстро прекратили это занятие и присоединились к охотникам. Только один Соломон направился к ближайшему замеченному им с воздуха, перспективному логоу. Через три часа он вернулся. Подвыпившие рыбаки и охотники быстро протрезвели, когда Соломон из своего рюкзака вытащил трех только что изъятых волчат. Охотники начали кричать, что этих щенков он нарочно тайно привез с собой в вертолете. Они просто не могли поверить, что человек, впервые оказавшийся в незнакомом месте, так быстро смог обнаружить волчью нору.

Соломон был известен как опытный следопыт не только среди промысловиков, но и среди профессиональных зоологов.

Несколько раз из Москвы специально к Соломону приезжали два кандидата наук, занимающиеся *Canus lupus*. Соломон нашел для них четыре логова и помогал метить волчат пластмассовыми серьгами. Кроме того, москвичи выбривали у волчат бока, поочередно прикладывали на каждую сторону шаблон с вырезанной цифрой и пускали из специального баллончика на голую кожу жидкий азот. После этой процедуры кожа настолько промерзала, что становилась жесткой и звенящей как пергамент. Зоологи уверяли Самсона, что потом на этом месте вырастет чисто белая шерсть, и по ней можно будет издали определить личный номер зверя. Соломон, хотя и не поверил столичным ученым, но попросил разрешения самому пометить волчонка. Ему дали трафарет с цифрой «6».

После этого москвичи не приезжали, а Соломон, сколько ни охотился, так ни разу и не видел волков с белыми цифрами на боках. И охотник решил, что на сибирского зверя московский азот не действует.

В деревне, где гостил Соломон, ему, конечно же, рассказали и про задавленного козла, и о том, как прошлым летом мальчик якобы встретил волка. Соломон сходил к остаткам несчастного копытного, изучил «собачьи» следы и понял, что мальчик был прав. Но у Соломона не было времени, он торопился домой, в город.

Охотник снова приехал в деревню только через месяц. К этому времени у волчицы из четырех родившихся осталось только двое щенят. Двое других оказались слабыми и погибли от голода – ведь у нее не было волка, который кормил бы и ее, и выводок.

Оставшиеся в живых по окраске не были похожи на мать. Вероятно, их отец имел очень сложную и запутанную родословную. Один волчонок, тот, что поменьше, был весь черный, только из-под левого глаза спускалась пепельно-серая полоска – словно след от слезы. Окраска другого, более крупного, была удивительной – по серому волчьему фону его шкурки были хаотично разбросаны разноцветные пятна.

Приехавший в середине лета Соломон сходил на речку, без труда нашел логово и забрал обоих волчат. В деревне он поместил их в пустующий, обнесенный штакетником загон для кур.

На пленников пришли смотреть соседи.

– Так это же не волки, – говорили они. – Это собаки. Щенята. – И протягивали руку – поласкать кутят.

Черный сероглазый щенок скулил и тыкался влажным носом в ладони. А желтоглазый, пятнистый, когда к нему подносили руку, припадал к земле, прижимал уши и шипел. Рычать он еще не мог.

– Славный сторож будет, – говорили соседи. – Отдай его нам.

– Пока обоих себе оставлю, – отвечал Соломон. – Подращу, а там посмотрим. Может, и отдам одного.

Но на следующее утро у него остался только один пленник. Черный.

Волчица ночью пробралась во двор, сделала подкоп и унесла пятнистого.

Утром Соломон сразу пошел к знакомому логову у реки. Как он и предполагал, оно оказалось пустым – волчица перетащила щенка в безопасное место. Охотник на всякий случай поставил у входа в нору капкан, вернулся домой и поставил еще один – перед лазом, вырытым ночью зверем.

Капканы простояли неделю, но в ни никто не попался. И Соломон снял их. Он знал, что волчица больше здесь не появится. И еще он знал, что она живет где-то поблизости, усиленно откармливая своего единственного отпрыска: и в его деревне, и в соседних начал пропадать скот – волчица принялась охотиться и там, где раньше не промышляла.

А к зиме разбои прекратились. Волчица с прибылым куда-то откочевала. По всей округе на скотных двора воцарился мир. И самыми большими событиями стали проникновения хорьков в курятники.

Соломон подарил черного щенка одному дачнику. Через полмесяца тот отвез его в город. Там кутенок быстро надоел хозяину, и его отдали туда, куда обычно отдают всех таких же ненужных щенков, – сторожам коммунальных гаражей. Там уже жило шесть собак. Взяли и этого. Тем более, что дачник уверял, что он – наполовину волк. Сторожа разглядывали ласкового, черного как смоль щенка и не верили.

Ему придумали несколько имен. Одни называли щенка Чернышом, другие – Угольком или Антрацитом, третьи – Лумумбой. Но прижилась совсем другая кличка – Снежок.

У Снежка началась вольготная жизнь. Стая приняла его дружелюбно. У собак было много вкусной еды. Во-первых, сторожа приносили объедки со своего стола. Но лакомства поставляли не они, а владелицы автомобилей. Дамочки тащили и подпорченных копченых куриц, и несвежую ветчину, и залежавшуюся дорогую колбасу, и собачьи консервы, от которых отказались их домашние питомцы. В особенно сытные дни можно было видеть всю объевшуюся свору, лежащую где-нибудь в теньке, и вокруг каждой собаки громоздились кучки не съеденных подношений.

Пока Снежок был щенком, он мог безбоязненно подойти к любому взрослому псу, поедающему свою порцию, и попробовать – чем того сегодня угостили.

Но однажды, когда Снежок, по привычке приблизился к миске вожака, из которой он еще вчера беспрепятственно ел, здоровенный кобель – удивительная помесь дога с колли: пятнистый, короткошерстый, но с роскошными шерстяными «шароварами» на задних лапах, – неожиданно для Снежка оскалился и так грозно зарычал, что тот испугался и направился к миске другой собаки. Но и там на него не только рывкнули, но и пребольно прихватили зубами за загривок. И Снежок понял, что он повзрослел, и теперь ему придется есть только из своей собственной посуды. Кроме того, подростку щенку стало ясно, что у каждой собаки в стае было свое место. А у него, у Снежка, когда он вышел из щенячьего возраста, это место было последним. Всего за день старшие товарищи научили его, что подойти к кускам, принесенных добрыми автовладелицами, он может лишь после того, как насытится вся стая. Сначала вожак, затем остальные, а он, Снежок – в последнюю очередь.

Шло время, он рос, крепчал, волчья кровь брала свое, и однажды при дележе добычи Снежок так рыкнул на старшего по рангу, что тот сразу же поджал хвост и отошел в сторону. Так Снежок в стае стал уже не последним, а предпоследним.

Хорошая пища и хорошая наследственность делали свое дело. Снежок стремительно матерел. Он стал драчливым, и его социальный статус неуклонно возрастал. Через год выше него в этом собачьем табеле о рангах оставался только вожак.

В конце концов Снежок подрался и с ним и, наверное, победил бы, но тут прибежали сторожа и отбили его у Снежка. Вспомнив слова Соломона насчет матери-волчицы и то, как жутко Снежок воеет по ночам, сторожа посадили его на привязь.

Казалось, жизнь цепного пса вполне устраивала пленника. Дамочки продолжали приносить ему колбасу и только радовались, когда огромный, черный, укрошенный поводком пес ластился к своим кормилицам, заглядывая им в глаза и тыча носом в пакет с гостинцами.

Только одного Снежок не мог спокойно переносить. Он сатанел, видя, с какой наглостью справляет малую нужду вожак на самой границе участка, где пленник из-за привязи никак не мог достать обидчика.

Следствием этой ненависти был страшный шум, лай и вой в одну из осенних безлунных ночей. Когда смотрящие телевизор охранники выскочили из своей сторожки наружу, они обнаружили смертельно раненого, с перегрызенным горлом вожака, хрипевшего в луже крови. Остальные собаки в страхе забились под машины. Не было только Снежка. Он, наконец, сумел оборвать свой кожаный поводок.

С неделю черный пес бесцельно бродил по городу и без элитной колбасы, ветчины и карбоната быстро отощал. Потом Снежок нашел хлебное место у двери привокзальной столовой. Там уже побирались потерявшийся шпиц и какая-то дворняжка. Но, увидев Снежка, сразу же потеснились.

Троица дежурила у столовой, а на ночь перебиралась в соседний подвал. Рабочий день у них начинался с обеда, так как на завтрак людей ходило мало, ели они быстро и почти не подавали. В обеденный перерыв народу было много, люди не спешили, были добрее и подавали охотно. У каждой из дежуривших собак были свои приемы выпрашивания. Шпиц, например, так жалобно поскуливал, что трогал сердца даже шоферов. Дворняжка научилась становиться на задние лапки, скрещивала перед собой передние и потешно поднимала и опускала их. Ее, как правило, одаривали привокзальные торговки. Меньше всего перепало Снежку. Его огромный рост и мрачноватый взгляд никак не вязались с обликом нищего. Но Снежок не оставался голодным, экспроприируя еду у своих товарищей.

Лишь однажды Снежка покормили до отвала. Рядом с ним присел мужик с авоськой. Он был коротко стрижен, и все руки у него были синие от татуировок. Мужик посмотрел в серые глаза пса (посторонний наблюдатель, наверно, заметил бы, что их глаза чем-то похожи), достал из авоськи бумажный пакет с сосисками и по одной из рук скормил их кобелю. Затем погладил его по огромной голове и сказав: «А ведь ты не собака», – ушел.

А через день ушел от столовой и Снежок.

Он начал бродяжничать по городу. К его удивлению оказалось, что весь город поделен на участки с четкими границами, контролируемые своей собачьей стаей. И каждая с большим недоверием относилась к появлению чужака, то есть Снежка. Обычно псы сразу объединялись и изгоняли его. И даже он, уже возмужавший и опытный боец, не мог противостоять нескольким организованно нападавшим собакам.

Наконец одна небольшая стая приняла его. Последним в ней он не стал (благодаря своим физическим данным), однако был далеко не первым. И пес понял, что и здесь место вожака надо было завоевывать.

Авторитет можно было заслужить не только силой (в предках вожака этой стаи, наверное, были мастифы), но в основном житейской мудростью, прекрасным знанием своих владений и тем, что и когда там происходит.

Стая кочевала по своему участку, добывая себе пропитание из помойных баков (при этом надо было успевать раньше машины, в которую грузилось их содержимое), не брезгуя при этом крысами и кошками, ночевала в нескольких подвалах (причем вожак никогда не устраивал две ночевки подряд в одном и том же месте), отстаивала границы своей территории в стычках с тремя соседними стаями. Но однажды, к удивлению Снежка, их стая без конфликтов объеди-

нилась с другой, когда надо было доказывать свои права, но уже не на уровне дворов, а на уровне улиц.

И еще их вожак всегда безошибочно угадывал, когда в их дворе появится машина, из которой неожиданно выскакивали мужики с огромными сачками и ловили бездомных собак.

Однажды вечером, когда стая, не торопясь, мирно трусила к месту ночевки, на обочине остановилась милицейская машина. Из нее, покачиваясь, вышел сержант, расстегнул кобуру, достал свой «Макаров» и выстрелил в жоака. И, даже пьяный, не промахнулся. А потом с чувством выполненного долга сел в машину и поехал дальше. А жоаком стал Снежок.

Через год у взматеревшего, огромного, черного сероглазого пса с широченной грудью была самая сильная и организованная группа, которая беспрепятственно проникала на все три участка соседних стай. Потом Снежок расширил владения своего клана и на две соседние улицы.

Огромный рост, волчья сила и хитрость не только делали его непререкаемым авторитетом среди собак, но и вызвали повышенный интерес у людей.

Однажды он прихватил кобелька, не по рангу приблизившегося к загулявшей суке. Жильцы соседних домов были настолько взбудоражены истошным собачьим визгом, а затем и видом огромного волкодава, терзающего маленького песика, что вызвали милицию. Милиция на этот раз огонь открывать не стала, но вместе с подоспевшими ловцами собак попыталась поймать Снежка. Милиция вскоре уехала, а живодеры гонялись за огромным черным кобелем несколько дней. И когда пес понял, что люди от него не отстанут, он ушел из своих владений.

Только через месяц Снежок примкнул к другим собакам, которые, как и он, сторонились людей и поэтому жили в пригороде. Питались они на свалках, а также охотились: как на домашний скот, так и на косуль, маралов и лосей.

В новой стае Снежку опять пришлось начинать все сначала – от рядового необученного охотника, бывшего горожанина, совершенно неприспособленного к суровой таежной жизни. В конце концов и в этой стае Снежок занял место лидера. Он, в чьих жилах текла кровь и собаки и волка, выросший среди людей и воспитанный одичавшими бездомными псами, стал признанным жоаком изгоев, промышляющих и в городе, и на пригородных свалках, и в окрестных лесах.

Три года подряд волков в окрестностях города никто не видел. Однако на четвертую зиму охотники и егеря начали получать жалобы на серых хищников. И снова все силы были брошены на борьбу с новой волчьей стаей, пришедшей откуда-то с севера. Она отличалась необыкновенной дерзостью, «работая» и в глухой тайге и смело орудуя в населенных пунктах – от далеких хуторов до городских окраин.

Стая волков уже шестой день голодала, но вожак, принохиваясь, всё бродил и бродил вокруг одинокой, запорошенной снегом палатки, стоящей на берегу реки. В палатке была собака. Хотя она, затаившись от страха, лежала без движения, вожак чуял ее и даже слышал ее дыхание. Брезентовая дверь палатки была зашнурована, но нижние петли разошлись настолько, что волк легко мог ползком проникнуть внутрь. Но вожак, опасаясь капкана, не мог поверить в такую легкую добычу. Он, сколько не принохивался, не чувствовал запаха хорошо проваренного и протертого хвоей железа. Но все равно так и не решился напасть.

Когда волки отходили от палатки, сидевшая в ней лайка тихонько грызла запас галет, хранившихся в картонной коробке. За эти галеты ей попало. Мимо, с дальнего зимовья на «Буране» проезжал промысловик, возвращавшийся с добычей и с двумя своими собаками – молодыми кобелями – на базу. Он на всякий случай заглянул в палатку – проверить свой склад и к своему удивлению нашел там суку, пропавшую неделю назад. Сначала хозяин приласкал ее, а затем, обнаружив разгрызенную коробку и кучу собачьего помета прямо в брезентовом домике, несколько раз перетянул ее по спине веревкой. Но лайка не обижалась. Она была рада, что осталась жива и ни на шаг не отходила от охотника.

Потом охотник побродил вокруг палатки и понял, почему лайка из нее не вылезала: весь снег был истоптан – волки крутились рядом, но почему-то внутрь так и не залезли.

Охотник торопился домой и не пошел по волчьему следу. Он завел «Буран» и поехал. Сытые кобели резво бежали по следу снегохода, и настрадавшаяся сука старалась не отставать от прицепленных к «Бурану» нарт. Она полностью выкладывалась и тихонько подвывала от напряжения.

Охотник изредка поглядывал через плечо на собак. Сука была старовата и поэтому не очень удачлива на охоте. Больше его занимали молодые псы, которые в этом году впервые показали себя в деле.

«Еще один сезон, – думал охотник, – и им цены не будет».

Он в очередной раз посмотрел назад, ожидая увидеть бегущих кобелей. Но тех не было. Охотник остановил снегоход и закурил, равнодушно глядя на подбежавшую тяжело дышащую суку, которая совсем обессилела. Псов же не было. Охотник бросил окурочек в снег, отцепил нарты и на облегченном снегоходе поехал по своему следу назад. Сука воя, рванула было за ним, но с пустым «Бураном» тягаться не смогла и сразу же отстала.

Охотник проехал около километра. Кобелей не было. Он поехал еще и нашел их обоих. Уже почти полностью съеденных.

Охотник снял с плеча карабин и несколько раз выстрелил в ту сторону, куда уходили следы скрывшихся волков. Человек повесил карабин на плечо и чуть не упал от толчка – обезумевшая от страха сука наконец-то догнала его и ткнула ему в ноги.

Охотник добрался до деревни и первым делом заспешил к приятелям-промысловикам – рассказать о гибели лаек.

Однако и у них были свои беды.

У одного лайки в распадке «поставили» сохатого. Охотник заторопился на голоса. Когда до них оставалось совсем немного, лай неожиданно перешел в пронзительный визг, а затем стих. Охотник, решив, что лось начал отбиваться от наседавших на него псов, поспешил на выручку.

Но в распадке ни лося, ни лаек не оказалось. Осмотрев следы, охотник понял, что лось на махах ушел вверх по склону. И еще охотник обнаружил, что лось испугался вовсе не его собак, а волков.

Эта волчья стая была какая-то странная. Вместо того чтобы, отогнав лаек, зарезать лося, звери, не обращая внимания на сохатого, мгновенно убили всех трех лаек и утащили их.

Другой промысловик сумел отбить у волков двух своих собак (одной прокусили ухо, а у другой была огромная рваная рана на плече).

Третий наткнулся на стаю у своей охотничьей избушки. Уже при подходе к ней в сумерках охотник услышал визг. Устремившись на звук, он увидел пять своих лаек в окружении волков. С десятка зверей были чрезвычайно возбуждены, двигались легкой рысью по кольцу вокруг собак, быстро сужая его и не обращая внимания на крик человека. Через мгновение вокруг собак уже образовался огромный рычащий клубок из тел хищников. Только после выстрелов, когда один волк был застрелен, другие остановились и замерли. После убийства второго раздался короткий хриплый вой матерого, и все волки мгновенно исчезли. Но одну собаку они все же утащили с собой.

Промысловик привез шкуру убитого волка. Это был второгодок, крупноватый для своего возраста. Все обратили внимание на то, что на груди у него было странное разлапистое зеленоватое пятно.

Эти случаи заставили объединиться охотников, егерей, лесников и просто владельцев собак. На стихийных собраниях неоднократно пересказывали истории, связанные с дерзостью и наглостью появившихся хищников. То, что это были звери именно одной и той же стаи, уже никто не сомневался.

Выяснилось, что как-то на зимней рыбалке ночью волки крали рыбу из вытасненных на лед сетей – причем люди выбирали ее с одной стороны снасти, а обнаглевшие звери – с другой. Вспоминали также случай, когда волчица заманила в тайгу крупного кобеля лайки, а затем на него из засады напал волк и они вдвоем мгновенно прикончили пса.

А один промысловик рассказывал, чем закончилась его охота на лис. Он с осени оборудовал землянку и в двадцати метрах от нее постоянно выкладывалдохлых кур, одолженных на соседней птицеферме, а по зиме начал из своего блиндажа отстреливать появлявшихся на приваде лисиц. Зверобой забирался в свою нору с вечера, закрывал дверь и караулил красного зверя. Но однажды пришедшая на приваду лисица испуганно метнулась в сторону и исчезла в зарослях, а через минуту охотник увидел у привады стаю волков с огромным вожакom. Охотник выстрелил, но в него не попал, а зацепил одного из прибылых. Самое страшное, что стая не ушла, а стала раскапывать крышу землянки. У охотника было с собой всего десяток дробовых патронов, которые он, пугая волков, быстро расстрелял через амбразуру. После каждого выстрела стая отбегала, но потом возвращалась. Бедолага просидел в своей конуре до утра и только случайно проезжавший трактор заставил волков отступить.

От рассказа к рассказу число зверей в легендарной стае увеличивалось. Сначала говорили, что в ней 15 зверей, потом 20, а один божился, что он насчитал 33 хищника. Но все сходились в одном – вожакom этой стаи был огромный волк, причем его окраску никто не мог точно описать. Некоторые утверждали, что он бурый, как медведь, другие – что почти белый, третьи – что темно-серый, а один охотник божился, что сам вожак был зеленым, а у другого матерого волка на боку ясно различалась белая буква «Б». Но на этого охотника так выразительно смотрели, что он быстро замолкал.

На самом деле в стае было всего шесть зверей. А окрас шерсти вожакa точно никто не мог описать по одной причине: по его серой шкуре были хаотично разбросаны черноватые, желтоватые и даже зеленоватые пятна, как будто он был одет в маскировочный костюм. Именно поэтому охотники принимали этого зверя то за куст с рано пожелтевшими листьями, то за пень, покрытый пятнами мха, то за камень, украшенный желтым лишайником, – и не стреляли. Правда, в оценке его размеров роста никто не ошибался – волк действительно был огромный, под стать самым крупным тундровым.

На охотничьих сходках стае единодушно была объявлена война. Снова, как и несколько лет назад, стрелки заняли свои места в вертолетах и в импортных снегоходах, снова охотники стали распутывать волчьи следы и, обнаружив, где схоронились звери, окладывать их флажками. Но на этот раз все усилия были безрезультатны. От загонных и охот на окладах с флажками вскоре отказались. Красных тряпок волки совсем не боялись, а при облавных охотах стая ни разу не вышла на линию стрелков, всегда незаметно просачиваясь сквозь цепь загонщиков.

Пробовали применять ядовитые приманки, но результатом этих мероприятий было смертельное отравление шести лис и десятка собак.

Вертолетные рейды результатов тоже не давали – стая (как и та, на которую долго охотились 4 года назад), услышав шум двигателя, пряталась в густых ельниках. И скоростные «Ямахи» на этот раз оказались бессильны – от них волки заблаговременно уходили в непроходимые заросли, и людям ни разу не удалось застать зверей на открытом месте.

Безрезультатные погони длились всю зиму, причем стая, словно издеваясь над преследователями, никуда не уходила, держась в пригородах и продолжая целенаправленно истреблять собак. Делала она это настолько успешно, что бродячих псов на подконтрольной территории не осталось вовсе, а число дворовых настолько снизилось, что даже самые суровые хозяева, которые раньше и мысли не могли допустить, чтобы сторожевая собака переступила порог дома, вынуждены были на ночь запирать своих Шариков и Полканов в сенях (и все равно было два случая, когда волки выкрали их и оттуда).

Охотникам, даже самым азартным, в конце концов, надоело гоняться по тайге за стаей, городская администрация перестала субсидировать антиволчьи вертолетные рейды, мотивируя это тем, что жертв среди людей не было, потери скота минимальные, а гонять дорогостоящую машину ради спасения дворняжек может быть и гуманно, но зато уж очень неэкономично.

Интерес к неуловимым волкам постепенно ослабевал, и только Соломон знал, что теперь, голодной весной появился реальный шанс встретиться со зверями и самое главное – с их легендарным вожаком.

Охотнику было известно, что в пригороде осталась только одна стая полудиких собак, под предводительством Снежка, которому до сих пор удавалось умело уводить своих псов то в лесопарк (там они были недоступны для собачников), то в город – куда не смели сунуться волки.

Соломон был уверен, что собачники (среди которых не было ни одного даже бывшего охотника, а все бригады были укомплектованы исключительно бомжами) никогда не настигнут свору черного кобеля. Зато для волков эти собаки оставались очевидным источником корма. Соломон не сомневался, что встреча этих стай обязательно произойдет. И произойдет очень скоро.

И Соломон принялся следить за «подсадными утками» – собаками Снежка. Но Снежок, почувствовав особое внимание Соломона и заподозрив в нем врага, тут же увел своих псов от гаражей, где они держались несколько дней. Соломон нашел их на следующее утро у железнодорожного вокзала. Он старался не выделяться из толпы, не останавливаться, не разглядывать собак, и даже один раз, словно мимоходом, бросил Снежку кусок колбасы. Его прием удался: собаки перестали вычленять Соломона из «движущегося леса», и, прекратив воспринимать его как источник опасности, стали относиться к волчатнику так же, как и к остальным горожанам, то есть как к потенциальным носителям еды.

Соломон «пас» своих собак около недели.

Однажды под вечер Соломон заметил, что его псы, кормившиеся у хлебозавода, были спугнуты уазиком, очень похожим на тот, в котором совершали свои рейды собачники. И Снежок увел своих подопечных от опасности в лесопарк.

Соломон заволновался: чутье опытного охотника подсказывало ему, что черный пес делает непростительную ошибку. Лесопарк, глубоко вдававшийся в жилые кварталы, с северо-востока через дачный поселок смыкался с тайгой. Соломон, предвидя близкую развязку, вскочил в автобус и поехал домой. Там он схватил зачехленную двустволку, положил ее в рюкзак, бросил туда же пару пачек патронов, заряженных картечью (при этом успев подумать, что патроны старые, надо было бы зарядить хотя бы пяток новых), и выскочил на улицу. Время было дорого. Он не стал дожидаться автобуса, а остановил частника на жигулях.

– К лесопарку, – сказал он шоферу, забравшись в салон машины.

– Что, дядя, на белок охотиться едешь? – спросил водитель, увидев выглядывающий из рюкзака конец ружейного чехла. – Не сезон ведь. Весна. Они же не выходные – все линные. Да и менты тебя в парке засекут. И опять же стемнеет скоро.

– Да нет. Я мастеру ружье везу. Один курок барахлит. А он как раз у лесопарка живет. Обещал починить, – соврал Соломон.

– Это другое дело, – поддержал разговор шофер. – К весенней охоте ружье исправным должно быть. Небось, ждешь, не дождешься, когда тяга начнется?

– Жду, – опять солгал Соломон, презиравший охоту на пернатую дичь, и думая, что надо было бы все-таки зарядить новые патроны картечью.

Жигули остановились у трамвайного круга. За ним темнел лесопарк.

Соломон торопливо сунул шоферу деньги, выскочил из машины и зашпешил туда. Он на ходу распаковал ружье, отработанными движениями собрал его, засунул в стволы патроны

и обернулся. Водитель жигулей, раскрыв рот, наблюдал за Соломоном. Волчатник махнул шоферу рукой и тут же забыл о нем, потому что охота уже началась.

К вечеру лесопарк был безлюден. Соломон прошел с полкилометра по протоптанной в лесу дорожке и понял, что оказался прав: волчья стая подкараулила-таки псов – сбоку, из долины протекающей через лесопарк речушки, послышался отчаянный лай. Соломон заспешил туда, на ходу ощупывая запасные патроны в кармане своего полушубка.

У замерзшего ручья Соломона чуть не сбили с ног две летевшие ему навстречу собаки. У одной на бедре зияла огромная рана, и за ней стелился кровавый след. Соломон узнал их. Это были собаки Снежка.

По этой же тропе, навстречу Соломону бежали двое – парень и девушка.

Девушка была вся в слезах и белая как полотно. И парень тоже был сильно напуган.

– Там... – начала было девушка, но дальше не смогла произнести ни слова и разрыдалась.

– Там в овраге волки собак режут, – сказал парень. – А где остальные стрелки? Окружают?

– Да нет, один я, – ответил Соломон и побежал в овраг.

– Мы милицию вызовем. И охотников! – крикнул ему вдогонку парень.

Соломон на ходу обернулся.

– Милицию не надо, – они всех волков распугают. И охотников тоже не надо. Я сам охотник. Волчатник. Сам справлюсь, а вы ступайте. Никого не зовите! – и заспешил дальше, в сторону собачьего лая.

Соломон пробежал метров пятьдесят и увидел то, что и ожидал увидеть. На дне оврага, у вывороченной с корнем сосны, держала оборону собачья стая, вернее то, что от нее осталось: черный вожак и еще два рослых пса, у одного из которых в предках, похоже, был доберман, а у другого – кавказская овчарка.

На окровавленном снегу лежали три неподвижных собачьих тела и одно – волчье.

На оставшихся в живых и отчаянно лаявших собак наседали пять волков во главе с огромным вожаком. Из-за того, что псы прижались к вывороченному комлю огромной сосны, волки не смогли применить свой знаменитый прием охоты в круге, поэтому развязка трагедии затягивалась.

Соломон остановился, перевел дыхание и выстрелил по одному волку, через секунду по другому и, не глядя на них, мгновенно перезарядив ружье, снова поднял стволы. Вожак, не обращая внимания на выстрелы, выбил из рядов оборонявшихся добермана. Волк вцепился ему в горло, тряхнул, отскочил, а пес, хрипя, забился на снегу.

Пятнистый зверь на мгновение замер, хорошо выделяясь на фоне белой стены оврага.

«Красавец!» – невольно восхитился Соломон, быстро подводя мушку под лопатку волка и с некоторой жалостью нажимая на спусковой крючок. Звонко и очень громко (Соломону показалось, что гораздо громче выстрела) щелкнул боек по капсюлю. Осечка! Соломон потянул второй курок – вторая осечка!

«Подвели все-таки старые патроны», – с тоской подумал Соломон, заново взводя курки.

Но было поздно. Вожак, до этого не обращавший внимания на выстрелы, от металлических звуков двух осечек вдруг как-то по-особому тоскливо завыл, отскочил в сторону и в три прыжка скрылся за кустом. За ним, оставив псов, последовали два уцелевших волка и, к удивлению Соломона – «кавказец».

Соломон, не надеясь, вскинул стволы вслед одному из переярков и нажал сразу два курка в надежде, что хотя бы один патрон на этот раз не подведет. Грянул дуплет, приклад больно двинул по скуле, а волк уткнулся в снег.

Соломон перезарядил ружье, выбросил теплые гильзы и пошел к выворотню, под которым, тяжело дыша и ткнув окровавленную морду в снег, лежал Снежок.

Соломон, не доходя до него, нагнулся над хрипящим доберманом. Рана была смертельной. Соломон приставил ствол к голове собаки и нажал на курок. Снежок даже не вздрогнул от выстрела и, продолжая хрипло дышать, смотрел на подходящего человека.

Соломон присел рядом с ним, разобрал ружье, снял с него ремень, соорудил импровизированный ошейник и надел на пса.

Только сейчас охотник заметил, что пес не был полностью черным – под левым глазом струилась серая полоска.

Соломон не стал привязывать Снежка, а, оставив около него ружье и рюкзак, направился к убитым волкам. На груди переярка шерсть была окрашена в необычный зеленоватый цвет. Но удивило Соломона не это. На боку другого, матерого, виднелась четкая белая цифра «6». Соломон перевернул зверя. И с другой стороны была точно такая же, но бледнее.

«Видать, мало тогда я азота выпустил», – подумал Соломон.

Соломон вернулся к выворотню. Он положил зачехленное ружье в рюкзак, надел его на спину и легонько потянул за самодельный поводок.

– Пошли, – сказал он Снежку. – Хватит по помойкам отираться.

Черный кобель с трудом поднялся (только сейчас Соломон обнаружил у него две раны – на груди и на бедре) и хромая пошел рядом с Соломоном. И человек не ощущал натяжение привязи.

При выходе из парка он увидел бегущих ему навстречу шестерых вооруженных мужчин. Соломон узнал их – это была бригада волчатников.

– Выследил все-таки, – полуутверждая, полуспрашивая сказал один из них, и в его голосе слышалась зависть.

– Выследил, – подтвердил Соломон, – в овраге лежат. А кто вас вызвал?

– Да парень с девкой, что в парке гуляли. Позвонили в милицию, а оттуда – мне.

– Понятно.

– Вожака тоже взял?

– Вожак ушел. И с ним еще один. Переяроч. Так что и вам будет еще работа. Ты одну шкуру мне оставь. Я ее ученым в Москву отошлю. Того, у которого цифра на боку.

– Какая цифра?

– Шесть. Да ты увидишь. Другого такого нет.

– Оставлю. А это что у тебя за кобель?

– Моя собака.

– Вроде у тебя собаки не было.

– Вот завел по случаю. Ты про шкуру не забудь.

– Не забуду.

Охотники пошли в овраг, а Соломон – к выходу из парка.

Однажды летом, когда Соломон выгуливал Снежка (и люди как всегда сторонились, невольно уступая дорогу огромному широкогрудому, черному как смоль кобелю), к ним подошел коротко стриженный мужик, у которого все руки были синие от татуировок. Незнакомец, не обращая внимания на Соломона, присел перед псом на корточки, заглянул в его серые глаза, погладил по голове и сказал:

– А я тебя знаю. Мы с тобой раз встречались. Ты ведь не собака. Да? – и посмотрел на охотника.

Неудачная экспедиция

Дождь усилился, потом стали падать хлопья мокрого снега. В который раз я клял себя за то, что согласился поехать в экспедицию. Я как чувствовал, что ничего хорошего из этой затеи не получится, что поездка будет неудачной. Но уж очень мне хотелось на Чукотку. Ведь сейчас туда так просто не попадешь.

Зря ругают Советский Союз. Много чего было, но, по крайней мере, по всей стране я передвигался, не затрачивая больших денег. А один мой знакомый, узнав из телепередачи, что в августе возле Петропавловска-на-Камчатке ожил Авачинский вулкан, без особого урона для семейного бюджета взял да и поехал, вернее, полетел смотреть извержение. Вернулся он через четыре дня очень довольный еще и потому, что все петропавловцы на Авачинскую сопку шли пешком и не дошли, поскольку в горах уже лежал снег, а он дошел, потому что предусмотрительно привез из Москвы лыжи.

А сейчас Приморье, Камчатка и Чукотка – почти что Австралия. Пожалуй, туда добраться легче. Я имею в виду Австралию.

Поэтому, когда мне однажды, сразу же после распада Союза, предложили поехать на Чукотку за голландско-японские гульдены-иены, добытые одним московским орнитологом-коммерсантом, я согласился. Естественно, на меня в период расцвета дикого капитализма никто бы не стал тратить большие деньги только для того, чтобы показать красоты северо-восточной окраины самого крупного материка. От меня требовалось найти там гнездо редкой птицы – гуся-белошея.

И вот я здесь, на Чукотке. В Лаврентии. Председатель местной администрации, который, как божился мой столичный патрон, с радостью был готов помочь лодками и вездеходами, сказал, что он слыхом не слыхивал ни о какой экспедиции, ни о моем начальнике, ни о его гусях.

В гостинице негостеприимного Лаврентия я провел три дня, ожидая рейсовый автобус на Мечигмен – поселок, где обитал рыбинспектор – еще один житель Чукотки, который, как обещали в далекой Москве, ждал меня и жаждал посодествовать.

Весь салон чукотского автобуса (огромного «Урала») был забит не только пассажирами, но и ящиками, мешками и тюками, как будто люди ехали не к себе домой, а, так же как и я, – в экспедицию.

За окнами проплывали то заснеженные горные склоны, то речки, покрытые льдом, в котором вешняя вода уже проточила русло, то размытые туманным стеклом машины силуэты бродящих по снегу канадских журавлей.

А в автобусе гремели песни. Их пел нетрезвый пассажир. Ему было лет шестьдесят. Он, вероятно, всю свою советскую молодость провел в тундре, где пас оленей. А в то время в каждой яранге обязательно стоял приемник «Спидола» (это я знаю точно, так как хорошо помню фотографии из журнала «Огонёк» к репортажам о жизни чукчей-оленеводов). И, конечно же, по этому приемнику передавали классическую музыку, в том числе и оперную. И пока мы ехали, пьяный чукча, демонстрируя превосходную память, отличный слух и неплохой тенор, исполнил несколько арий из «Севильского цирюльника», «Любовного напитка» и «Евгения Онегина».

Певец прервался лишь однажды, под самый конец нашего путешествия, когда внутри салона автобуса забурлила вода. Он замолчал и поглядел в окно. Все пассажиры сделали то же самое. Оказывается, наш «Урал» двигался посередине широкой реки. Вода почти полностью покрывала колеса, а из-под капота валил пар.

Прямо по курсу сквозь низкие серые облака проглядывал одинокий флагшток трубы с черным полотнищем развивающегося дыма – Мечигмен.

Машина натружено вползла на крутой берег и въехала в поселок. За окном поплыли серо-желтые, серо-розовые и серо-голубые стены домов.

«Урал» остановился. Пассажиры полезли наружу. Я покинул машину последним.

На остановке собралась толпа встречающих. Чувствовалось, что приход этого транспортного средства был таким же событием, как и появление корабля у далекого острова. Местные жители расходились по домам, поглядывая на меня – единственного незнакомца. Увели и чукчу, поющего свою последнюю арию. Дверь автобуса захлопнулась, и машина, обдав меня дизельным выхлопом, скрылась. Я со своими вещами остался один у огромной лужи, рябой от мелкого дождя. В стороне стояла группа подростков.

Я направился к ним – узнать, где живет рыбинспектор, тот самый единственный человек, к которому у меня была рекомендация.

– А его в поселке нет, – отозвался мечигменский паренек. – Уже как неделю.

У меня похолодело в груди – исчезала последняя надежда где-нибудь приткнуться на Чукотке.

– И что, дома никого нет? – спросил я пацана.

– Может, сын дома. Вы сходите, посмотрите. Тут недалеко, за углом – он в доме с моржом живет. Его сразу увидите.

Я взял свои вещи и пошел к моржу.

Поселок при пешем осмотре в такую погоду производил еще более тягостное впечатление, чем из окна автобуса. Двухэтажные блочные здания, которыми была заполнена центральная улица, стояли на бетонных сваях – дань вечной мерзлоте. Под строениями темнели лужи, и в них плавали пустые пластиковые бутылки, а там, где луж не было, сидели и лежали огромные чукотские лайки. Собаки еще не вылиняли с зимы и от этого казались толстыми как чау-чау. Но, в отличие от своих холеных городских прототипов, лайки были невероятно грязными.

Наконец я добрался до дома, на серо-розовом фасаде которого был действительно нарисован огромный морж.

В подъезде в носшибанул сладковатый запах ворвани. По невероятно грязной лестнице я поднялся на второй этаж. У двери вместо половика лежал здоровенный пес. Завидев чужака, он испуганно бросился на улицу. Я нажал на кнопку звонка. Безрезультатно. Я постучал. За дверью было по-прежнему тихо. Я постучал еще раз.

Дверь открылась. На пороге стоял высокий подросток с перевязанной рукой и в затемненных очках.

– Владимир Михайлович дома? – спросил я, хотя заранее знал ответ.

– Нет. Батя в Анадыре.

– А когда будет? – спросил я.

– Да неизвестно. Связи с Анадырем нет. А вы кто?

– Да я гусей изучать приехал. Мне в Москве адрес ваш дали. Разместиться у вас в доме можно? – наконец спросил я, с тайным подозрением, что сейчас этот ребенок даст мне естественный, по столичным понятием, ответ: «Принять без бати не могу, вот когда батя приедет (забегая вперед скажу, что он прибыл через неделю), тогда и приходите».

Но вместо этого тинэйджер сказал:

– Проходите. Размещайтесь.

У меня отлегло от сердца.

Двухкомнатная квартира представляла собой становище охотников или рыболовов, с комфортом гораздо большим, чем мне приходилось видеть на настоящих охотбазах, но с гораздо меньшим, чем в настоящей квартире. Хотя казалось, здесь было всё необходимое: туалет, ванная, кухня, комнаты, кладовая, балкон, приличная мебель, ковры, телевизор с видеоманитофоном, но этот городской уют полностью растворялся в страшном беспорядке, доказывающем, что в этом доме давно не было женщины. Постоянной женщины.

Ванна была доверху забита разнокалиберными стеклянными банками. На кухне громоздились горы невымытой посуды. На ковре под телевизором лежали два огромных мешка. Из дыр одного на пол сочился горох, из другого – гречка. На телевизоре стоял тазик, доверху полный извлеченными из упаковок таблетками различных размеров и окрасок.

В общем, когда я вытряхнул из рюкзака все свои полевые вещи, они тут же гармонично слились с аборигенным хламом.

Обитатели этой фактории, как могли, озеленили свое жилище: в кухне на подоконнике в кадке процветало и плодоносило деревце сладкого перца, рядом, в деревянном ящике, густо зеленели побеги редиса, а в комнате до потолка вилась лиана испытывающего недостаток света георгина с крохотным розовым цветком на вершине.

Я достал свои продукты – батон хлеба, сыр и масло. Хозяин (оказалось, его звали Андреем) чрезвычайно обрадовался этому весьма скромному, на мой взгляд, угощению. Из разговора я понял причину. Оказалось, что отбывший в Анадырь отец не оставил отпрыску денег. Хорошо, что в доме в огромном количестве были гречка, горох, да еще самодельная тушенка.

Плоды на перцевом дереве еще не созрели, зато густая ботва редиса радовала глаз. Андрей выдернул два экземпляра этого овоща, но как мне показалось – зря. Ввиду полярного дня все силы растений ушли в листья, а сами редиски были крохотными как горошинки. Андрей небрежно обмыл зелень под краном и протянул мне. Я вежливо откусил корнеплод, а остальное отложил в сторону.

– Вы что? – удивился Андрей. – Ведь здесь только это и едят, – и он смачно захрустел своими листьями.

Я попробовал. Оказалось – очень неплохо. Похоже на грубоватый, слегка колючий салат.

Тушенка, приготовленная, как выяснилось, из серого кита, была превосходной. Я налегал на нее, а Андрей – на бутерброды с сыром. Так мы, довольные друг другом, скоротали вечер.

За окном по-прежнему было пасмурно, не переставая, сеял мелкий дождь, линиялые чукотские лайки задумчиво обходили темные лужи, а над трубой котельной, окруженной терриконами угольных шлаков, вился черный дым. Но эта картина уже не вызывала той тоски, которая возникла у меня, когда я выгрузился из автобуса.

Мне отвели отдельную комнату. Она явно принадлежала Андрею, так как все ее стены были увешаны фотографиями обнаженных девиц мясомолочных пород, выведенных специально для ублажения юношеских взоров.

На следующий день погода улучшилась, и я пошел на разведку в поселок. Светило майское солнце, с моря дул свежий ветерок. Кое-где у прогреваемых стен домов даже виднелись тонкие стебельки травы.

Продовольственный магазин поразил меня огромным очень качественным цветным плакатом с изображением небритого хозяина «Челси» с подписью «Абрамович и Чукотка – это надолго» и ценами на продукты. Они были ровно в пять раз выше московских.

Тление распавшегося Советского Союза чувствовалось в Мечигмене особенно остро. Дома, раньше покрашенные в нарядные цвета, которыми архитекторы старались хоть как-то нейтрализовать бледные краски Заполярья, облупились, и на розоватых, голубых, желтых и охристых стенах появились огромные серые пятна.

Я прошел мимо разваленного клуба, мимо столовой с наглухо заколоченными дверями и с почти полностью вылинявшей вывеской, мимо автобазы, огромные ворота которой были подвешены на вездеходных траках, заменявших дверные петли, мимо непримечательного здания неизвестного назначения. Оно бы не привлекло моего внимания, если бы не одно обстоятельство: у дома стоял прапорщик погранвойск и со скучающим видом наблюдал, как грохочущий армейский тягач таранит это строение. Через секунду оно рухнуло, подняв облако пыли, тут же развеянное свежим ветром. Пуночка, певшая на крыше павшего дома, перелетела на

соседний и продолжила щебетать там. Откуда-то появились солдаты и стали неспешно грузить добытый таким нехитрым способом строительный материал в подъехавший самосвал. Редкие прохожие не обращали внимания на происходящее. Наверное, оно не было им в новинку.

В голубом небе низко над домами пролетел одинокий гусь. Вскоре за поселком, обозначая маршрут его движения, послышались выстрелы.

Я вышел на высокий берег моря. Здесь, как водится в любом приморском поселке, стояла скамейка и на ней сидели местные аксакалы.

Чукотские дедки были одеты, кто во что горазд – начиная от пиджаков, шляп и лакированных ботинок до настоящих кухлянок, меховых шапок и торбасов. Их глаза закрывали солнцезащитные очки (из-за них цивильно одетые чукчи были похожи на состоятельных японцев). Все они держали в руках разнообразные бинокли, которые были доставлены к наблюдательному пункту в чехлах (они висели у каждого на ремне). Из футляров выглядывали чистые тряпочки, которыми чукчи периодически протирали окуляры и объективы.

Я поздоровался, присел на свободное место и понял, почему здесь собрался народ.

Вид здесь был такой, что дух захватывало. Лед, покрывавший море, торосился, и белые холмы и скалы украшали эту бескрайнюю равнину. Петля между торосами, к поселку двигались две собачьих упряжки, а над разводьями у самого берега пролетела пара гаг – впереди бурая утка, сзади – яркий пегий селезень. Его белая спина не была заметна на фоне ледового поля и, казалось, летят лишь черные голова, крылья и хвост. «Га-га», – негромко, но отчетливо произносил самец, на лету уговаривая свою подругу.

Я встал, попрощался с чукчами и пошел дальше знакомиться с поселком.

Рядом с главным проспектом, планомерно застроенным стандартными двухэтажными домами располагалась хаотичная слободка из множества деревянных избёнок, около которых по причине первого солнечного дня на веревках висели ряды зимней одежды. Повсюду на привязях сидели огромные чрезвычайно грязные, но откормленные ездовые лайки. Рядом с каждой партией собак лежала обглоданная китовая голова. Псы, как ни старались, за зиму все головы осилить не могли. Теперь, по весне, они мощно благоухали.

Около одной чукотской избушки на высоком помосте (чтобы собаки не достали) килем вверх лежала огромная кожаная байдара. «Иныпсикэн» было написано белой краской на ее борту. А для тех, кто не понимал по-чукотски, имелся и пиктограммный эквивалент этого слова – очень удачный рисунок касатки.

На окраине поселка располагалась звероферма. За прозрачным забором из сетки-рабицы высоко над землей, на толстых сваях, виднелись помосты, на которых стояли почерневшие от времени дощатые ящики. Оттуда исходил запах псины, и слышалось негромкое тьяканье. Судя по состоянию полуразвалившихся клеток, а так же по тому, что хор голодных песцов не был многочисленным, можно было прийти к выводу, что ферма не процветала. Зверобои, промышлявшие нерп, нашли применение обширному забору, отгораживающему этот питомник: на рабице они сушили шкуры добытых тюленей. А так как при разделке этих животных обязательно отрезают лапы (и на их месте остаются дыры), то овальные развешенные шкуры представляли собой мрачное зрелище даже на фоне весеннего неба. Казалось, что в воздухе парят огромные ритуальные маски со светящимися глазницами.

А вот располагавшееся в низине китовое кладбище не производило угнетающего впечатления: позвонки напоминали связки фарфоровых изоляторов для ЛЭП, из-за огромных размеров кости не ассоциировались с животными, а у черепов не было ни глазниц, ни зубов – деталей, придающих скелету головы пугающий вид.

Рядом, на высоком бугре, было другое кладбище – человеческое: ряды крестов и обелисков со звездами, увешанных выцветшими пластмассовыми розами. У каждой могилы, по древней местной традиции, лежали оставленные вещи, которые могли бы быть полезными покойнику на том свете: плоскогубцы, топоры, стаканы, чашки, чайники и еще много чего. Но все

предметы имели какой-либо изъян, не позволяющий ими пользоваться в мире этом. У плоскогубцев не было одной «губы», на обухе топора змеилась трещина, ручка у чашки отсутствовала.

На кладбищенском кургане цвели чудесные незабудки. И если они не были угнетены ветром, лежащим рядом камнем, брошенной бутылкой или холмиком земли у норы суслика-евражки, то их сплоченные, тесно прижатые друг к другу побеги сливались в идеальную полусферу, сверху сплошь покрытую крохотными лазоревыми цветочками.

На этой высотке толпился народ. Сначала я думал, что это родственники умерших, но потом понял, что это просто гуляющие. Причем на бугор забирались не только пожилые, но и подростки. И даже молодые мамы заталкивали на крутой подъем коляски с младенцами.

Это была вторая смотровая площадка поселка. Отсюда были видны и залив, и равнина с рекой, и далекие сопки и редкие фигурки людей, бродящих по тундре и что-то собирающих там.

– Неужели щавель начал расти? – спросил я одного из гуляющих. – Вроде рановато.

– Да нет, это чукчи ивовые листочки рвут, – первые витамины.

Труба, маяком возвышающаяся над Мечигменом перестала дымить, и пейзаж от этого только выиграл. Но напрасно я радовался чистому небу. Дома Андрей мне объяснил, что в поселке между коптящей трубой, теплом, электричеством и водой существует прямая связь.

Целую неделю я жил в своей полутемной холодной комнате, совершая недалекие вылазки к небольшим окрестным озерам в надежде обнаружить заветного гуся сразу за околицей. Но у каждого водоема неподвижно сидели молодые чукчи. Их непроницаемые дочерна загорелые лица украшали модные солнцезащитные очки. Парни не были похожи на солидных японцев, а напоминали рядовых якудза. Сходство с бандитами им придавали и ружья, которые чукчи держали в руках. Я понял, что гусеобразных в окрестностях поселка мне вряд ли удастся найти.

Хотелось на волю, в настоящую тундру. И, честно говоря, уже сильно надоел невыносимо отдающий ржавчиной чай: Андрей добывал пресную воду, сливая ее из батарей центрального отопления.

Периодически звонил хозяин квартиры, клятвенно обещая приехать в ближайшие дни и отвезти меня туда, где разных гусей-лебедей полным-полно. Но время шло, а он не появлялся.

В первый день лета, когда мы с Андреем сидели на кухне и пили нестерпимо крепкий чай (Андрей не жалел заварки, для того чтобы отбить привкус железа) под окном остановился огромный оранжевый бензовоз. Оттуда вылез плотный коротко стриженный брюнет, кивнул водителю и направился к дому.

– Батя приехал, – бесцветным голосом сообщил Андрей.

Батю звали Анатолием. Первым делом он, зайдя в комнату и поздоровавшись, запустил ладонь в стоящий на телевизоре тазик, вытащил оттуда пригоршню разноцветных таблеток и отправил их себе в рот.

– От давления, – пояснил он мне.

Вечером после ужина я разложил карту, а Анатолий начал расхваливать окрестные места, указывая озера, на которых, как он божился, в массе обитают гуси. Я слушал, верил и ждал того часа, когда покину надоевший поселок и смогу, наконец, жить один, искать гусиные гнезда и пить чистую воду.

Но пришлось на день задержаться. Из-за кита.

– Завтра вездеход отменяется, – сказал Анатолий. – Море ото льда освободилось, и китобои на промысел выходят. Если хочешь посмотреть, как кита разделяют, то с утра на берег иди.

– А куда, в какое место?

– Сразу за зверофермой. Да ты не заблудишься, сразу найдешь. Туда весь поселок пойдет. Ведь после голодной зимы мясо первого кита по обычаю даром раздают. По двадцать кило на душу. А другого продавать будут.

– Почем? – спросил я.

– Пятнадцать рублей за килограмм. Не каждому по карману. Но все равно раскупают. За лето штук пятнадцать китов добывают. У Мечигмена самая большая квота. Поселок ведь большой – вот и квота большая. Другим поселкам по одному-двум китам разрешают добыть. А нам – все пятнадцать.

Мы поговорили о китах еще немного, и я успел налить себе из чайника в кружку ржавого кипятка, до того как сын Анатолия бухнул в него полпачки заварки.

Вероятно, поэтому я заснул сразу.

Солнечным утром на улице было полно народу. Чувствовалось, что у всех было праздничное, прямо-таки первомайское настроение. Все организовано, как на демонстрации, шли к берегу моря. И у каждого была с собой какая-нибудь тара. Пессимисты шли с рюкзаками, а оптимисты запаслись огромными сумками. Встречались и колесные средства – разнообразные тачки и тележки, а один даже приделал к шасси от детской коляски большое цинковое корыто. Я влился в толпу и вскоре прибыл на место.

На крутом склоне, нависающем над ровным гравийным берегом, как на трибунах древнегреческого театра, уже собралось почти все население Мечигмена.

У самой воды толпилось человек двадцать китобоев. Наконец я заметил и то, зачем все сюда пришли, – кита. Его серая туша, кажущаяся маленькой на фоне бескрайнего залива, лежала в воде, и волны разбивались об нее. Китобои курили, всем своим видом показывая, что их основная работа уже выполнена – зверь добыт и причален.

Подростки, которых только приучали к этому промыслу, стали заводить петлю из троса на его хвост. Поочередно то один, то другой, отвернув голенища болотников, заходил в воду и пытался набросить аркан. Но накат был такой сильный, что будущий китобой выскакивал на берег.

Ветераны по-прежнему курили в сторонке, спокойно наблюдая за их действиями. Наконец одному из них это надоело. Он, не вынимая изо рта сигареты, взял трос, залез по пояс в ледяную воду и, не торопясь, заправил хвост в петлю. При этом его раза три полностью с головой накрывала волна.

Подмастерья быстро потащили свободный конец троса к трактору, а насквозь промокший китобой, с телогрейки которого ручьями бежала вода, вернулся к своим товарищам, выплюнул промокшую сигарету, закурил предложенную кем-то сухую, о чем-то поговорил со своими коллегами и только потом, не торопясь, пошел в балок – переодеваться.

Трактор натужно взревел, из выхлопной трубы повалил черный дым, и туша кита, медленно раздвигая гравий, поползла на берег.

– Хороший кит, – одобрительно сказал сидевший рядом со мной зритель, – тонн на тридцать.

Заработала мотопомпа, и с кита из брандспойта смыли прилипший песок.

А потом началась разделка зверя, о которой я знал только по роману Мелвилла о белом кашалоте.

Чукчи, вооружившись фленширными ножами, похожими на клюшки для хоккея с мячом (древко было почти в рост человека, а лезвие круто изогнуто, как йеменский кинжал), разрезали серую кожу кита на полуметровые квадраты. С кожей отходил и толстый слой белоснежного сала. Порции сала и мясо крючьями грузили на тележку и отвозили к будочке – пункту раздачи.

Через час кит был полностью разобран и роздан, а из черепа китобои топорами вырубали китовый ус.

«Наверное, на сувениры», – подумал я.

Но, как выяснилось позже, ошибался.

Население, получив свою долю мяса, расходилось по жилищам. По дороге домой я обогнал несколько человек. Двое из них сгибались под тяжестью рюкзаков, а третий тянул за собой то самое транспортное средство, которое я приметил утром, – большое, доверху груженное китятиной цинковое корыто, прикрепленное к детской коляске.

Мимо прошла стайка ребятишек. Каждый из них держал, как эскимо, лакомство: вырубленный заботливыми родителями из челюсти зверя кусок китового уса, и с удовольствием обгладывал сырой хрящ.

В поселке по-прежнему чувствовалось праздничное настроение, а из всех окон доносился запах жарящегося мяса.

Дома Анатолий достал из холодильника кусок серой китовой кожи, нарезал ее на мелкие кубики, посолил и протянул мне.

– Угощайся. Чукотский деликатес. Лучше китового уса. Я тебе специально оставил. Кстати, собирайся. Завтра с утра будет вездеход.

Я попробовал китовую кожу. Соленая резина. Наверное, я чего-то не понимал в деликатесах.

Утром вездехода не было. Он прибыл далеко за полдень. В поселок с реликтовым названием Красная Яранга ехала бригада оленеводов, и Анатолий устроил меня в этот тундровый «рейсовый автобус», который ходил раз в полмесяца, отвозя в Ярангу очередную смену и забирая в Мечигмен отработавшую.

Я погрузил внутрь свои вещи. Там сидело четверо чукчей, и стоял огромный деревянный ящик с благоухающим нерпичьим жиром. Как мне пояснили, этот продукт использовался не только для еды, но и для светильников – с развалом Союза из яранг исчезли и керосиновые, и электрические лампы. Мне не захотелось сидеть внутри вездехода. Я, основательно утеплившись, забрался наверх, и мы поехали.

Поездка на вездеходе по тундре больше напоминала путешествие на корабле: настолько плавный, укачивающий ход был у тяжелой машины, что чувство воды и глагол «плывем», доминировали над чувством земли и глаголом «едем».

На крыше вездехода было тепло, так как светило солнце и ветер был попутный. Снега на далеких сопках манили ослепительной белизной. На южных склонах холмов зеленела первая трава, и розовели сережки карликовой ивы. В долинах лежал рыдающий на солнце снег.

По всему чувствовалось, что мы движемся по торной дороге. Везде виднелись пустые железные бочки, которые каждый проходящий здесь вездеход, по мере продвижения, сбрасывал, как сбрасывает истребитель опорожненные топливные баки. На вершинах холмов бочки стояли, как маяки, в низинах эти емкости лежали черными колодами.

В долинах тундровой тропы был широченный – ведь каждый вездеход старался пройти не разбитой колеей, а по ее краю. Поэтому дорога напоминала бескрайнее перепаханное рисовое поле, где, однако, вместо благородного злака обильно всходила пушица.

Мы ехали часов восемь.

На вершине одного из холмов, у тоненькой прозрачной пирамидки тригопунтка машина остановилась.

– Приехали, Алакылот. Твое озеро. Выбирай, где будешь табориться, – сказал водитель.

У подножия холма среди низкорослого багульника я обнаружил сухую полянку и принялся выгружать вещи: рюкзак, палатку, ящик с продуктами и канистру с бензином.

Чукчи не спешили уехать в свою Красную Ярангу. Они достали удочки и направились к озеру.

А я начал обустривать лагерь. С палаткой пришлось повозиться. Мешал сильный ветер – он то складывал ее, то выворачивал наизнанку. Наконец жильё было собрано. Я огляделся в поисках рыбаков.

Их крохотные фигурки еле различались на белом льду озера. Я взял бинокль и посмотрел, что они делают.

Чукчи махали руками и переходили с одного места на другое. Поймали они что-нибудь или нет – с такого расстояния, даже в бинокль, нельзя было различить.

Я стал распаковывать коробки с продуктами и распределять их в тамбуре палатки.

Часа через полтора пришли рыболовы. В руках у них были вырезанные из ивовых веточек куканы, и на каждом висело по десятку гольцов – желтоватых, со стальными головами, рыб.

Водитель дал мне несколько штук. Я вытащил из рюкзака и передал ему бутылку водки – плату за проезд.

Мы договорились, что они заберут меня отсюда через две недели, и вездеход уехал.

С вершины моего холма открывался потрясающий вид. На востоке еле различалось светло-серое пятнышко – крыша единственного дома в поселке Красная Яранга. На севере, за моим белым озером и буро-серой тундрой, по горизонту светились заснеженные вершины сопки. По ледяному панцирю озера двигалась какая-то темная точка. Я посмотрел в бинокль – это веселым галопом скакал песец. Он линял – морда и лапы были черные, а снизу серой юбкой свешивалась свалывшаяся шерсть. Зверек возвращался с охоты – в бинокль хорошо было видно, что песец тащит во рту жирного лемминга. Он легко взбежал на крутой берег. Там из-под земли появились серые головёнки – голодные отпрыски дождались кормильца. Песцы у озера жили, а вот гусей не наблюдалось.

Я спустился вниз, к палатке, взял чайник, кастрюлю, подаренных гольцов и пошел на озеро. Ледовый панцирь был толстый и крепкий как бетон. По его поверхности проходили длинные трещины с залезшими краями. Я остановился у одной и стал чистить рыбу. Я знал, что это лосось, но никак не ожидал, что у него мясо такого цвета – ярко-оранжевое.

Ветер крепчал. Он бил в левый бок моей палатки, и две растяжки провисли – мягкая торфяная земля не держала колышки. Пришлось залезать на холм, таскать оттуда камни и укреплять стропы. В тамбуре палатки я разжег примус. Через пятнадцать минут далекие сопки с заснеженными вершинами стали туманными от вылетающего из носика чайника пара. Я поужинал, затем, уворачиваясь от колышущихся ледяных пластиковых стенок моего дома, переоделся в шерстяной тренировочный костюм и залез в спальник. От холода он казался сырым. И только через полчаса я согрелся.

Бока палатки ходили под порывами ветра, и в капроновое жилище мягко сочился холодный воздух. Под убаюкивающее колыхание стенок моего эфемерного дома я заснул.

Утренняя погода не радовала. Ветер усилился, и по палатке шуршал мелкий дождь. Я разжег примус, позавтракал и выглянул наружу. Сквозь серую стену дождя белело озеро. Вода сверкающими ргутными ручейками скатывалась по гидрофобной поверхности палатки и бесследно исчезала в торфяной почве.

День для наблюдений был явно неудачным, и я решил порыбачить, благо чукчи оставили мне одну удочку.

Подмосковный рыбак немедленно выбросил бы на помойку эту снасть – серый плохо оструганный полуметровый кусок доски с двумя вбитыми посередине ржавыми гвоздями, на которые была намотана помутневшая от времени, солнца и мороза миллиметровой толщины леска. Один ее конец крепился к доске, другой был увенчан небольшой блесенкой. Я потрогал тройник. Пальцы тут же побурели от ржавчины. Острия были тупые, как зубья алюминиевой вилки.

Я посмотрел на свою «удочку», на еле видимое в дожде и спящее подо льдом озеро и подумал, что никогда бы не пошел рыбачить, если бы не знал, что вчера именно этой удочкой, именно на этом водоеме водитель вездехода за час наловил дюжину рыбин.

Надев оба свитера, пуховку, плащ, поглубже натянув вязаную шерстяную шапку и сунув в карман перчатки, я спустился к озеру.

Дул противный ветер. Моросило, висели низкие безнадежные облака, туман закрывал весь горизонт. В общем, погода была самая, что ни на есть мерзко-мартовская и с трудом верилось, что уже начало июня.

Лед на озере местами был серовато-синий и прозрачный, местами – как белоснежный песок, из которого выглядывали огромные голубые кристаллы, словно друзья аквамарина в слое бриллиантовой пыли; встречались изысканные лужайки из мелких голубых призм среди таких же, но белых: незабудки и ландыши.

В ледяном панцире темнели уходящие вниз бездонные скважины. Я постоял возле одной из них, думая, что лед такой толщины не успеет растаять за короткое чукотское лето. Потом, сообразив, что эта дыра – идеальная лунка, я размотал леску и попытался опустить блесну в воду. Но ветер так болтал сверкающую, словно елочная игрушка, металлическую рыбку, что она все время ложилась на лед. Я, присев на корточки, запихал приманку в воду и начал неторопливо взмахивать рукой, представляя, как в темной безжизненной глубине безнадежно дрыгается латунный листик.

Стоя посередине огромного замерзшего озера и поводя вверх и вниз плохо оструганным куском доски, я чувствовал себя очень одиноко.

Неожиданно за леску снизу резко дернули, в ответ я инстинктивно рванул удочку на себя, и через секунду на льду рядом с лункой бился мой первый полуметровый голец.

Настроение улучшилось. И тучи стали казаться повыше, и дождик пореже, и даже где-то далеко почудился несуществующий голубоватый просвет в облаках.

Я, взяв добычу, двинулся дальше по озеру, пихая блесну во всякую подходящую лунку: вытянутое, с зализанными краями цвета морской волны темное отверстие. Сначала следовали легкие ищущие движения на входе. Потом поиск в глубине – выше, ниже и, в завершение, всегда неожиданный резкий удар, а затем выплеск воды с бьющейся рыбой, которая, затихая, пульсировала на льду.

На обратном пути дорогу мне, словно черная кошка, перебежал песец, тащивший очередного лемминга своим щенкам. В тундре летал одинокий, отяжелевший от дождя шмель. Насекомое, видимо, в отличие от меня знало, что уже наступило чукотское лето и кочевало по прижавшимся к земле кустикам ивы, на которых распустились темно-розовые, тоже в каплях дождя, как и сам шмель, сережки.

Следующий день был таким же пасмурным. Рыбачить не хотелось, и я пошел к своим соседям – песцам.

Мальши, которые, как мне казалось, должны быть доверчивыми, при приближении человека спрятались в норе. Зато взрослый песец выглядел беззаботным. Он невозмутимо побродил рядом со мной, пожевал недоеденного своими отпрысками лемминга, спустился с увала вниз к озеру, попил из полыньи воды и вернулся. Я положил на землю ружье, снял рюкзак, достал оттуда камеру и сфотографировал этого тундряного шакала.

Песец тем временем подошел к моим лежащим на земле пожиткам и принялся их внимательно обнюхивать.

Я присидел у норы около часа, щенят так и не дождался, взял вещи и пошел домой, удивляясь тому, как сильно и двустволка и рюкзак пропитались запахом псины. Я даже не мог их заносить в палатку – так они благоухали. Оказалось, что проклятый песец успел пометить мочой чужеродные предметы. Я долго оттирал мхом ружье и рюкзак. Но всё равно в палатку их вносить было нельзя.

На третье утро моей тундровой жизни я, открыв глаза, увидел, что желтый потолок палатки уж очень убедительно лгал, что снаружи солнечно. Я прислушался – не было слышно шороха падающих капель. И стены палатки не шевелились. Я быстро расстегнул дверь и выглянул наружу.

Сквозь высокие облака светило солнце. Была видна не только вся ледяная поверхность озера, но и все заснеженные вершины далеких сопков. Ветер стих. У самой палатки хлопотливо летал сухой шмель. По озеру галопом проскакал знакомый песец. Как всегда – с леммингов в зубах.

Надо было торопиться и наконец заняться тем, зачем меня сюда послали – то есть поиском гусей. Наскоро позавтракав жареными гольцами, я застегнул палатку и зашагал на север.

Я поднимался на холмы, спускался в болотистые низины и форсировал речушки, пробивающие себе путь сквозь монолиты спрессованного снега.

Отовсюду слышалось скрипучее курлыканье канадских журавлей. С криком снимались с кочек длинноносые веретенники. Иногда из-под ног взлетал песочник, серой тенью летел над самой землей, а затем резко падал в траву. С луж, возникших на месте вездеходных дорог, взвивались чирки и шилохвости.

Пользуясь погожим днем, я, подолгу задерживаясь на вершинах холмов, в бинокль осматривал окрестности.

Вокруг лежали многочисленные озера, отражающие голубое небо и беловершинные сопки. В зеленой долине виднелась дорога. Казалось, она ведет к уютной горной деревушке. Для полноты иллюзии этой скандинавской идиллии анонимный декоратор поставил и крохотный домик у берега горного озера. Я поднес бинокль к глазам. Сказка растаяла – домик был весь драный, в черных заплатках рубероида. К тому же лощина оказалась верховым болотом, а ровная дорога – старым следом вездехода, вспахавшего торфяной слой. Кроме того, в бинокль стали видны и вездесущие железные бочки.

Я исправно шарил биноклем по всем озерам и петляющим речкам. Хорошо были видны и висящие над водой крачки, и плавающие гагары, и стайки гаг, а в тундре – и торчащие шеи журавлей. Только гусей нигде не было.

На холмах были заметны следы яранг – уложенные правильными кругами огромные камни. Некоторые стоянки использовались недавно: сваленные рядом с ними словно вязанки хвороста, рога северных оленей были белыми и гладкими. Места других стойбищ не посещались десятилетиями – здесь позеленевшие и потрескавшиеся рога наполовину ушли в землю.

Располагавшиеся около яранг свалки содержали массу археологического материала. Самый мощный культурный пласт принадлежал советскому периоду: лежали сломанные радиоприемники (в основном «Спидолы»), огромные электрические батареи, кучи каменного угля, обрывки одежды, архаичные водочные бутылки и соответствующая им граненая посуда.

Не столь многочисленные предметы другого, более древнего, слоя напоминали о свободных связях Чукотки с западным (то есть восточным) миром – с Америкой (отсюда до нее меньше 100 километров). Я нашел ржавый прицел от винчестера, рядом валялся старинный медный патрон этого же оружия с полуоболочечной пулей и белел осколок чашки с явно не советским голубым орнаментом и с латиницей на донце.

Из норы, вырытой между камнями, вылез детеныш длиннохвостого суслика, увидел меня и, испуганно заверещав, юркнул обратно. У входа в сусличье жилище горел янтарным цветом небольшой скол кремня. Я поднял его. Суслик, копая свою нору, извлек из глубины холма еще один артефакт – скребок первобытного человека.

На вершине одного холма располагалась старая могила чукчи, величественная в своей суровой эстетике: оконтуренный большими камнями овал, с огромным монолитом лежавшим, по всей видимости, в головах. Никакого мусора, никаких подношений, никаких пластмассовых роз. Только цветки дриады, белые, с желтыми зрачками бились, словно яркое пламя, раздуваемое не утихающим тундряным ветром. Взгляд рядом с камнями невольно искал полуистлевший меч викинга – настолько этот суровый северный антураж соответствовал духу «Старшей Эдды».

Погода наладилась, и на моем озере произошли кардинальные изменения. Свежий ветер с юга за пять дней уничтожил кажущуюся незыблемой ледяную толщу. Первым сдалось мелководье. Образовалась прибрежная закраина, еще неширокая, но уже достаточная для того, чтобы там ходила волна. Через полдня ветер расширил эту полынью на десять метров, а еще через день – уже на сто.

Я честно выполняли свою работу, – целыми днями напролет прочесывал тундру в поисках гусей. Но тщетно. Гусей не было нигде.

Я решил сходить на дальний маршрут, переночевать в балке и осмотреть тундру у залива.

По всему побережью виднелись маленькие дощатые деревянные будочки – балки. Тундровые строенница служили и для отдыха, и для промысла. Старожилы рассказывали (наверное, преувеличивая, но лишь отчасти), что раньше всю Чукотку можно было обойти пешком, с сетчонкой, ружьем, с минимумом продуктов – то есть с солью и крупой, отдыхая и ночуя в любом из балков. Но сейчас, при страшной дороговизне всего, большинство этих пристанищ разграбили.

Я, не останавливаясь, шел целый день, осматривая все встречающиеся на пути озера в тщетной надежде найти гусей, и только к вечеру добрался до залива, выйдя прямо к одному из таких домиков.

По заливу медленно дрейфовала огромная длинная льдина. Ее верх возвышался, как рубка подводной лодки, а все стометровое тело неясно белело сквозь водную толщу. Около льдины плавало несколько гагар. Вдруг сверху послышался непонятный звук: громкий, шелестящий нарастающий свист. Я поднял голову, ожидая увидеть падающую отработанную ступень ракеты. Но ее не было. Зато в неимоверной вышине замелькали темные точки. А через несколько секунд я понял, что это снижается стая гаг. Утки, на манер соколов, чуть приоткрыв крылья, камнем падали вертикально вниз, издавая те самые свистяще-шуршащие звуки. В полукилометре от земли они, словно тормозящие слаломисты, начали маневрировать, резко бросаясь из стороны в сторону, а когда скорость погасла, вся стая с шумом, распугав гагар, плюхнулась на воду.

«Мой» балок был далеко от поселка и поэтому не пострадал от мародеров. Оказалось, что это была не только рыболовная база, но еще и чья-то дача: кто-то соорудил качели для отпрысков, у стены валялся забытый, выгоревший на солнце пластмассовый петух, а за домом я обнаружил старые грядки, сооруженные на чистом гравии, – следы попыток сельскохозяйственной деятельности.

К заливу вел настил из прогнивших досок. Берег был неприветлив – с оползающими в воду пластами торфа, полупогруженными в ил камнями и редким древесным мусором. На другом берегу залива виднелся Мечигмен.

Внутри домишки было в меру убого и грязно, в углу располагалась печка и запас дров. Я обрадовался, так как мне уже немного надоела палаточная сырость и особенно – холод прикосновения к спине капроновых стен, когда утром выбираешься из теплого спальника.

Единственным внутренним украшением балка была чудесная керосиновая лампа – с пузатым стеклом, по которому снизу ползла короткая трещинка. На дне светильника я обнаружил надпись, из которой следовало, что это, на самом деле шлюпочный фонарь, а год его изготовления – 1934. Сколько десятилетий этот хрупкий светильник скитался по ярангам и балкам вокруг залива и все-таки уцелел!

Ночью шел дождь, крыша, оказывается, протекала, и капли цокали рядом со мной по доскам нар, как редкие шальные пули.

Утром я встал, еще раз порадовавшись, что палаточная жизнь временно прервалась: в балке, при всех его минусах, можно было ходить, не согнувшись в три погибели. Я вышел на крыльцо. Дождь прошел, но было пасмурно и, как всегда, прохладно. Когда же у них лето наступит? Пока я об этом размышлял, из-за бугра, метрах в семидесяти, вынырнул волк. Он не

торопясь, трусил куда-то по своим делам. В отличие от облезлого песца, этот зверь уже обзавелся летним мехом и поэтому казался очень стройным. Единственным, чем он отличался от волков, виденных мною ранее – в Приамурье и в Азербайджане, – так это огромным ростом: этот в холке был, наверное, с дога. Волк равнодушно взглянул на меня и, не меняя аллюра, проследовал мимо.

Я посмотрел на поселок в бинокль. С расстояния в 30 километров селение казалось аккуратным и чистым. Труба котельной по-прежнему не дымила. Андрей с Анатолием, наверное, все так же добывали питьевую воду, сливая ее из батарей.

Синий каменный дрозд

Нет, это не изображение птицы, вытесанное из гранита, а потом выкрашенное масляной краской в один из основных колеров буддизма. Такое пернатое действительно существует. Приятного приглушенного синего (скорее матово-голубого) цвета. Чудесная птица. Небольшая, грациозная, можно сказать аристократическая (не то что простоватый и скандальный дрозд-рябинник). И песня у нее красивая: короткая, свистовая и негромкая. А живет она на прибрежных крутых каменистых берегах Южного Приморья. И только там. Эндемик. В общем, птица для эстетов. А учитывая, что она редкая и далекая – то это настоящая мечта.

Однообразная работа в «почтовом ящике» провоцирует у сотрудников развитие хобби.

Глеб, как молодой специалист, попав в одно из таких учреждений, с удивлением обнаружил, что в перерывах в курилках и даже в рабочее время научный и технический персонал огромного авиационного «почтового ящика» вовсе не обеспокоен повышением устойчивости планёра в режиме полета на малых скоростях или проблемами сварки электронной пушкой титановых пластин. Оказывается, большую часть времени одни сотрудники дискутировали о том, какой лучше мастикой покрывать днище жигулей – самопальной отечественной или же фирменной французской, другие делились с товарищами опытом, как из серебряной ложки правильно сделать мормышку, сместив центр ее тяжести так, что даже при слабом движении лески блёсенка натурально играла, и чем эту мормышку следует полировать перед тем, как погрузить в лунку. В этой же аудитории спорили о сортах стали, методах закалки и об углах заточки ледовых буров, которыми эти самые лунки во льду и сверлятся.

В третьем «клубе» обсуждали всевозможные способы повышения кучности стрельбы из гладкоствольного ружья – от изготовления разных вариантов контейнеров, препятствующих деформации свинцовой пули при прохождении через чоковое сужение, до модификации пули Блондо (той самой, которую французские маки изобрели для отстреливания эсэсовцев из своих охотничьих двустволок).

Эти братства были самые многолюдные.

Были и другие. Двое (оба – специалисты по аргоновой сварке) мечтали построить собственную яхту, дойти на ней до устья реки, а потом – по морю – до острова Ионы.

И было еще четыре человека, которые говорили о певчих птицах.

Именно к ним через некоторое время и примкнул Глеб. Правда, сначала он успел побывать на зимней загонной охоте, где ему дали чье-то старое ружье, такой же тулуп и негреющие валенки, поставили на номер, на который зверь не вышел (впрочем, и не должен был выйти), а вечером в какой-то избе Глеба, всего перемерзшего, накормили полусырой печенью застреленного другими лося и насмерть упоили водкой.

После этого Глеб пристроился, было, к рыбакам. Но, просидев целое выюжное воскресенье у черной дыры лунки (почему-то напоминавшей ему отверстие унитаза) и случайно вытащив из нее единственного чебака, а затем так же замерзнув, как и при охоте на копытных, и так же опьянев (на этот раз в пригородной электричке), он, наконец, примкнул к любителям птиц.

Это хобби было по нему. В птичьей компании Глеба не заставляли выезжать за город, мерзнуть там весь день, а потом пить водку.

Его привели домой к известному патриарху-птицелюбу. Это был высокий сухощавый, прихрамывающий на правую ногу старик, удивительным образом похожий на Дон-Кихота: у него были точно такие же усы и такая же борода клинышком, как у героя романа Сервантеса, проиллюстрированного Густавом Доре. Прозвище у орнитолога было «Птичий Дед». Он получил его от местных жителей в Туркмении, где ловил пернатых для своей домашней коллекции.

Всё в этом доме говорило о том, что птицы для Дон Кихота – это главное в жизни. Повсюду висели и стояли разнокалиберные клетки и клеточки, в которых кто-то копошился – пища, вереща, чирикающая или выводя рулады.

Вблизи вся эта мелюзга оказалась очень занятой. Глебу особенно понравилась темно-голубая глазастая птица. Она кланялась, подергивала хвостом и негромко, но очень внятно и красиво пела.

– Это что? Синяя птица? – спросил Глеб.

– Настоящая синяя птица вот там сидит, – и Дон Кихот показал на большую клетку, в которой прыгало фиолетовое существо.

– А где она водится?

– Она на Тянь-Шане обитает. А эта, которая вам понравилась, она из Приморья. Синий каменный дрозд называется. Ну что, посмотрели? Пойдемте чай пить.

Глеб пошел в ванную мыть руки. Там на перекладине, где в обычных домах висят полотенца, сидел огромный длиннохвостый красный попугай. Птица, увидев Глеба, так оглушительно заорала, что у инженера заболела голова, и он подумал, что с попугаями связываться никогда не будет.

Глеб прошел на кухню, где уже собралась вся компания «птицелюбов» с Дон Кихотом во главе.

Кухню также украшали клетки с пернатыми. Кроме того, на подоконнике стояло чучело куропатки (как показалось Глебу, очень плохо сделанное: ноги были вывернуты, с крыла свисало непричесанное перо, да и вся поза была какой-то неестественной).

Все уселись за стол, и Глеб стал слушать разговоры этих странных людей, которые с энтузиазмом рассуждали о линьке птиц, об их песнях, о каких-то лучках и тайниках, о том, как у муравьев надо добывать яйца, и в какой муке мучные черви бывают толще.

Поддерживая беседу, Дон Кихот совершал бессмысленное, на взгляд Глеба, действие: не торопясь крошил хлеб прямо перед неудачным изделием таксидермиста. Дон Кихот погладил чучело по голове. К несказанному удивлению Глеба оно ожило, неуклюже переступило лапами, потом нежно закудаhalо. Головка ожившей птицы потянулось к руке Дон Кихота, и куропатка взяла клювом крошку хлеба.

– К старости совсем ослепла, – сказал Дон Кихот. С рук кормить и поить приходится. Грех такую в клетке держать. Поэтому и живет все время на подоконнике.

Возвращаясь от Дон Кихота, Глеб решил, что птички – это как раз то, что ему надо. Душевный комфорт, отсутствие спиртных напитков и, наконец, чудесная птица со странным названием «синий каменный дрозд» определили его судьбу.

Глеб стал часто бывать у Дон Кихота и однажды вернулся домой не один. За пазухой он нес маленькую клеточку, в которой смиренно сидела его первая птичка – японская аматэна – презент от Птичьего Деда. В кармане Глеба лежал и пакетик с недельным запасом «канареечной смеси» – тоже подарок Дон Кихота.

Глеб клеточку на стол, насыпал в кормушку семян, налил воду в поилку, сел на стул и стал смотреть на амадину.

Птица была абсолютно ручная. Она мгновенно освоилась, поклевала зернышки, попила водички, села на единственную жердочку, почистила перышки и тихонько, по-воробьиному, зачирикала.

Щебет амадины был настолько успокаивающим, что Глеб задремал.

Он проснулся оттого, что было тихо. Птица мирно спала, положив голову под крыло. Глеб понял, чем он будет заниматься всю жизнь, помимо проектирования фюзеляжей самолетов.

Неофит решил, что он завтра же пойдет в зоомагазин и купит для своего пернатого друга настоящие хоромы.

Хоромы представляли из себя стандартную фабричную буковую птичью обитель, у которой выпадал поддон, не закрывалась одна дверца, а на деревянных жердочках топорщились чудовищные заусенцы. Через день, в отсутствие Глеба, несколько струн клетки повывлезали из пазов и поднялись, как редкая шерсть облезлого кота. В образовавшуюся дыру амадина выбралась наружу и только чудом не улетела в полуоткрытую форточку.

После этого амадина была переселена в свою крохотную клетушку, а зоомагазинская тюрьма для птиц была вынесена на балкон. Глеб задумал построить клетку сам.

Первый клеточный опыт Глеба был блестящим в прямом смысле этого слова: каркас и поддон клетки Глеб сделал из алюминия, а прутья, жердочки, кормушку и поилку – из нержавеющей стали. Все было тщательно пригнано и ошлифовано, дверцы не хлопали, поддон не выпадал.

Амадина была торжественно перенесена в этот ослепительный, как новогодняя елка, дворец. И Глеб обнаружил, что во всем этом блеске птичка стала совершенно незаметной. Единственным признаком, что сверкающая клетка обитаема, был негромкий щебет неунывающей пичуги.

Амадину ожидали еще восемь новоселий. Раз в месяц Глеб торжественно пересаживал птицу в новое жилище. Однако через некоторое время неутомимый инженер находил в нем недостатки и опять садился за чертежную доску. После этого амадина перемещалась в следующую клетку, а прежняя пополняла коллекцию на балконе.

И когда к Глебу случайно зашел один из членов клуба птицелюбов и увидел конструкцию, которая наконец-то стала удовлетворять требованиям Глеба (в ней чирикала амадина, наконец-то обретшая покой после бесчисленных переселений), то первым делом он выпросил у Глеба одну из забракованных конструкций, а потом сообщил Дон Кихоту о талантах Глеба.

А через день к Глебу в гости пришел сам Дон Кихот. Он осмотрел его последнее творение, сделал одно мелкое замечание по поводу конструкции крепежа поилки и вежливо намекнул, что тоже хотел бы иметь одну из клеток, стоящих на балконе. И тут же получил ее. Уходя, Птичий Дед, кроме того, порекомендовал Глебу переключиться на более сложных птиц – на насекомоядных, пообещав ему дать одну такую – славку-черноголовку.

Глеб с энтузиазмом начал строить еще дом для славки. Через неделю клетка была готова, и Глеб получил подарок. Славка прекрасно пела – словно ручеек журчал в весеннем лесу, а, кроме того, ее очень украшала аккуратная черная шапочка. Глеб был счастлив, но знал, что и эта птица всего лишь очередной шаг к его заветной мечте – синему каменному дрозду.

Славка действительно оказалась более сложной в содержании, чем амадина.

Если амадине достаточно было насыпать побольше «канареечной смеси», налить воды в автоматическую поилку и спокойно уехать в командировку на неделю, то новая птица требовала тщательного ухода. Теперь каждое утро Глеба начиналось с того, что он смешивал сухарную крошку с обезжиренным творогом, рубленным сваренным вкрутую яйцом и мелко тертой, досуха отжатой морковью. Это блюдо называлось «смесью для насекомоядных птиц». Кроме того, Птичий Дед еще порекомендовал кормить славку и живым кормом – мучными червями и при этом дал Глебу этих самых червей – длинных желтоватых личинок какого-то насекомого.

Мучные черви были для славки настоящим лакомством, и поэтому они закончились очень быстро.

Выяснилось, что в зоомагазине эти личинки стоили дорого, а у Дон Кихота их просить было неудобно. Но он все-таки пошел к Птичьему Деду – за консультацией, как их разводить.

И Дон Кихот показал Глебу четыре эмалированных ведра. В одном копошилось маточное поголовье – мелкие коричневые жучки, а в трех других в толстом слое отрубей ползали тысячи желтых червячков. В одном ведре они были совсем мелкие, в другом – побольше, в третьем – самые крупные, кормовые.

Дон Кихот дал Глебу книжку по разведению этих насекомых.

Глеб три дня ее штудировал. Оказалось, что это только Дон-Кихот разводил червей в ведрах. На самом деле их надо было культивировать в деревянных ящиках.

Глеб купил в хозмаге фанеру, гвозди, олифу, краски и принялся за дело.

Как человек творческий и к тому же имеющий высшее инженерное образование, Глеб, конечно же, не утерпел и внес несколько рационализаторских предложений в конструкцию жучиной фермы.

Все четыре сделанные им ящика были ровными, как блоки в концлагере: одинаковые, аккуратно сбитые, покрашенные в серый, скрадывающий объем цвет, с ровными рядами вентиляционных отверстий.

В глубинах этих ящиков, на добытых в загородном сельпо отличных отрубях насекомые так хорошо размножались, что у Глеба через несколько месяцев началось ощущаться перепроизводство, и он стал бесплатно снабжать мучными червями всех знакомых птицелюбов.

Наступила весна, и птичье братство в выходные стало выбираться за город – для пополнения живых коллекций.

И Глеб, знающий только из книг, ссуженных ему Дон Кихотом, о лучках, тайниках, западнях, понцах, слопцах, самоловках, хлопках, паутинных сетях, шпарках и птичьим клее, увидел весь процесс отлова пернатых воочию.

Первый раз ему самому ловить не позволили, однако, помня о его заслугах перед коллегами, подарили плененную лучком птицу – соловья-красношейку.

Приехав домой, Глеб снова сел за чертежную доску и стал проектировать собственную модель лучка, который, как он выяснил из недавней охоты на пернатых, являлся основным орудием лова.

Хотя он и уважал своих друзей, педантичной натуре Глеба претили те лучки, с помощью которых его соратники добывали птиц: дуги их снастей были согнуты на колене мастера из проволоки, найденной на ближайшей свалке; полотно сетки было позаимствовано из старых авосек и кошелок.

И хотя лучки исправно работали, Глеб решил, что для своих пернатых (и особенно для синего каменного дрозда) он сделает достойные ловушки.

Так, вероятно, считает каждый настоящий охотник. Огромный камчатский медведь должен быть застрелен только из штуцера производства фирмы «Лучано Бозис», а не из ржавой одностволки-тозовки, полутораметровый таймень из Подкаменной Тунгуски должен быть извлечен только японским спиннингом «Зенак» с немецкой блесной «Бальцер», а не при помощи куска миллиметровой лески с привязанной к ней половиной железной столовой ложки с огромным самодельным тройником, а уникальный кулик-серпоклюв, обитающий на Тянь-Шане, конечно же, должен быть сфотографирован только цифровым зеркальным фотоаппаратом «Кэнон» последней модели с метровым телеобъективом той же фирмы.

Спроектировать новый вариант лучка, а потом воплотить его в металле и ткани (вернее сети) было гораздо труднее, чем смастерить клетку.

Больше месяца Глеб трудился над чертежами. Затем пришлось договариваться со слесарями, чтобы они сделали матрицы и пуансоны для формирования дуг. После этого – со сварщиками (и они соединили все титановые детали лучка аргоновой сваркой). А затем электрохимики подобрали режимы для анодирования металла так, чтобы он приобрел защитный зеленоватый цвет.

В тот год помимо нужных стране многоцелевых самолетов серии СУ завод, сам того не подозревая, выпустил еще партию из 20 лучков, на каждом из которых, как на всяком военном изделии, стояла марка: ЛГ-1М (лучок Глеба, 1-я модель), и заводской номер.

Сетку для каждого лучка Глеб вязал сам (для этого ему пришлось познакомиться с браконьером – знатоком этого ремесла).

Глеб взял у соседки несколько уроков кройки и шитья, одолжился у нее же швейной машинкой и для каждого лучка сделал брезентовый чехол, на котором несмываемой краской посредством специально изготовленного трафарета был так же нанесен шифр изделия и номер.

Номер первый был подарен Дон Кихоту. Тот принял подарок своего ученика, внимательно рассмотрел его, опробовал насторожку и твердо решил, что никогда не будет ловить моделью ЛГ-1М № 1 птиц, так как это орудие лова слишком хорошо для них. Лучок Глеба был торжественно повешен на стену и демонстрировался всем приходящим в гости, как недостижимый образец птицеловных снастей. Так охотники показывают своим собратьям элитное ружье, с которым никогда не охотятся, а арабские шейхи с гордостью выносят гостям русского белого кречета, добытого где-то далеко на Чукотке и сложнейшим контрабандным путем доставленного на Ближний Восток – кречета, который всю жизнь так и будет сидеть на присаде, символизируя богатство своего владельца.

Дон Кихот настолько был поражен качеством Глебовой ловушки, что достал из клетки синего каменного дрозда, посадил его в садок и протянул подарок Глебу.

Но, к удивлению Дон Кихота, тот от птицы, которая была его мечтой, отказался.

– Не надо мне его. Я его сам хочу поймать.

Дон Кихот после этого зауважал Глеба еще больше, но все-таки отдался садовой камышовкой. Птица была в прекрасном перье, в полном расцвете сил и прекрасно пела.

Несколько птицеловов предлагали Глебу очень выгодные условия обмена его лучков на их птиц (среди последних фигурировали такие редкости для Дальнего Востока, как обыкновенный щегол, арчовый дубонос и даже попугай жако), но Глеб не соглашался.

Все оставшиеся 19 лучков нужны были ему самому. Все они предназначались для поимки синего каменного дрозда.

На работе Глеба дела шли хорошо. Начальство оценило его техническую грамотность, скрупулезность и ответственность и он был переведен на должность старшего инженера.

Да и среди птицеловов авторитет Глеба тоже неуклонно рос. Он не только славился как непревзойденный мастер по изготовлению клеток, но и как образованный орнитолог, знающий литературу и переписывающийся со специалистами.

Как-то по случаю Глеб у своего приятеля – капитана дальнего плавания купил двадцатикратный бинокль. Прибор достался Глебу дешево, потому что моряк неоднократно ронял его, в связи с чем изображение двоилось.

– Ты распили бинокль пополам, – посоветовал Глебу продавец. – Будут у тебя две подзорные трубы. Одна рабочая, другая – запасная.

Но Глеб не стал портить хорошую вещь, а нашел мастерскую, в которой бинокль отъюстировали.

После этого Глеб выходные начал проводить с биноклем в пригородах, изучая всех встреченных пернатых.

Однако в правильности определения некоторых видов Глеб сомневался. Поэтому он решил, что неизвестных птиц надо фотографировать, а снимки отсылать специалистам.

Глеб купил фоторужье, много фотопленки, фотобумаги и химикатов. Для печати цветных снимков требовалась не только аптекарская точность при взвешивании реактивов, но и особый температурный режим. И Глеб спроектировал, а потом и сам же собрал термостат, автоматически поддерживающий необходимую температуру. Его старания не пропали даром – снимки получались очень качественные, что и отметили орнитологи, которым фотографии были отосланы.

Глеб, обрабатывая пленку и печатая фотографии, большую часть времени проводил в темноте – в ванной.

И он подумал, что если это помещение стало еще одним его рабочим местом, то оно должно быть достаточно комфортным.

Глеб повесил в ванной стереодинамики (соединив их с расположенным в его комнате проигрывателем) и украсил потолок полусотней белых, голубоватых и зеленоватых фотодиодов (чего не найдешь на заводской свалке!). При этом дотошный Глеб, проштудировав учебник астрономии, обозначил светящимися точками основные созвездия.

Оборудовав, таким образом, фотолабораторию, Глеб работал в ней, слушая классическую музыку или «Битлз», посматривая на мигающие звезды (Глеб наладил реле, и огоньки вспыхивали в случайном порядке), размышляя о том, что хорошо бы сделать так, чтобы его светила еще и перемещались по небесному своду – то есть по потолку ванной.

Постепенно Глеб стал хорошо известен среди орнитологов-профессионалов. К нему все чаще обращались за консультациями, высылали отписки научных статей и кольца для того, чтобы он метил ими пойманных пернатых.

А один ленинградский орнитолог даже предложил Глебу написать заметку, посвященную результатам его наблюдения за дальневосточными птицами.

Глеб был человеком самокритичным и пока не считал, что может публиковаться в серьезных орнитологических сборниках. Но ленинградец, наконец, убедил его в обратном, и Глеб вплотную приступил к подготовке публикации.

Предприятие, на котором работал Глеб, было чрезвычайно богатой организацией. Там регулярно происходило обновление материальной базы. А перед этим старое оборудование списывалось.

Как-то, придя на работу, Глеб понял, что склады пополнились новыми образцами, так как два мужика в синей спецодежде кувалдами приводили списанное оборудование в негодность. Среди прочего Глеб увидел с десятков пишущих машинок «Ятрань». Половина из них молотобойцами уже была выведена из строя. Глеб подскочил к мужикам, и, посулив бутылку, успел спасти одну машинку. А еще за одну бутылку работяги пообещали незаметного вынести множительную технику за пределы режимного объекта.

Дома Глеб осмотрел «Ятрань» (она была в полной исправности), почистил, отрегулировал и попробовал печатать. Однопальцевый метод не устроил Глеба. Поэтому на следующий день он в магазине купил пособие для машинистки. А через месяц, самостоятельно освоив «слепой метод», набрал свою первую статью – четыре страницы текста – и отослал ее в Ленинград. Через полгода ее напечатали.

Однажды, сразу после взлета с заводского аэродрома, в воздухозаборник «изделия» (так самолет обозначался в составленном позже протоколе), попала птица. Как потом определили по останкам – ворона. Летчик не стал катапультироваться, а успешно посадил «изделие» на песчаную косу протекающей через город реки. За что и был поощрен.

А заводское начальство вдруг вспомнило, что на каждом приличном западном аэродроме есть своя орнитологическая служба, и вызвало Глеба. О его внерабочих увлечениях на военном заводе, конечно же, знали не только его коллеги-птицелюбы, но и те, кому это положено было знать по долгу службы.

Глебу предложили, сначала в качестве сверхурочной работы, обследовать территорию объекта и дать заключение на предмет птицепопасности для выпускаемых «изделий».

Так как площадь авиастроительного комплекса была огромной (в ее границы входил не только сам завод, но и аэродром), то Глебу выделили узик-«буханку», маленький дощатый домик и двух «лаборантов» – как раз тех работяг, которые спасли для него «Ятрань».

Глебу пришлось освоить специальную литературу, посвященную причинам столкновения пернатых с летательными аппаратами. Он, с облегчением для себя, выяснил, что мелкие певчие птицы, те самые, которых он и его товарищи с удовольствием содержали в клетках, никак не могли заставить пойти на вынужденную посадку боевую машину. А вот утки, чайки и вороны как раз и были причинами таких происшествий и даже катастроф.

В окрестностях аэродрома водоемов не было, поэтому уток и чаек из этого списка Глеб вычеркнул. А вороны были. И с ними Глеб начал вести борьбу.

Прежде всего, он предложил уничтожить мусорную свалку на заповедной территории. У начальства память о птице, попавшей в воздухозаборник самолета, была еще свежа. Поэтому незамедлительно были пригнаны два бульдозера, экскаватор и три грузовика, которые быстро эвакуировали содержимое свалки в неизвестном направлении.

Вороны несколько дней подряд прилетали на знакомое место, превратившееся в бесплодную пустыню, что-то рассеянно там клевали, печально каркали, а потом исчезли.

Но это были пришельцы. Оставалось несколько вороньих пар, гнездящихся на территории аэродрома.

Глеб получил согласие руководства на кардинальные меры: ворон расстрелять, гнезда разорить, а чтобы другим неповадно было здесь селиться, купить магнитофон, усилители и крутить крики тревоги этих пернатых.

Лаборанты баграми спихнули с деревьев гнезда, а над аэродромом стал регулярно разноситься душераздирающий вороний грай.

Магнитофон подтолкнул Глеба к освоению еще одной орнитологической специальности. Он решил не только собирать птичьи фотопортреты, но заодно коллекционировать голоса пернатых.

Но результаты первой звукозаписи воробья, чирикающего по соседству, не удовлетворили Глеба.

Он стал копаться в литературе и выяснил, что профессиональные охотники за голосами используют параболические рефлекторы.

Глеб, при помощи специально изготовленных шаблонов соорудил из увлажненного гипса гладкую метровую полусферу, дождался, когда гипс затвердеет, а потом покрыл поверхность полученного полушария несколькими слоями ткани, пропитывая их эпоксидной смолой. Получился легкий рефлектор. В центр этого локатора Глеб поместил микрофон, навел сооружение на воробья и сделал пробную запись. На этот раз ее качество Глеба устроило.

С этого времени орнитологический уазик тихими летними утрами ездил по заповедной территории аэродрома. Глеб сначала в пешем порядке находил поющий объект, потом медленно подгонял к нему машину, глушил мотор, выносил свою полусферу, по всей поверхности которой в целях маскировки были разбросаны желтые, серые, коричневые и зеленые пятна, и, надев наушники, крался с ней к поющей птице, а за ним от машины змеился длинный провод, соединенный со стоящей в салоне «Кометой».

Постепенно он собрал коллекцию голосов всех живущих на аэродроме птиц. И теперь на вверенной Глебу территории и поздней осенью или в разгар зимы, после обязательных фонограмм тревожных вороньих криков, звучали голоса пернатых певцов – акустические трофеи Глеба.

Он обжился в своем заповеднике. Теперь это была его основная работа: по штатному расписанию он стал числиться инженером-орнитологом. Глеб регулярно составлял (и сам квалифицированно печатал на «Ятрани») подробные отчеты, проиллюстрированные собственными цветными фотографиями. Кроме того, его статьи регулярно печатались в орнитологических журналах. А его запись песни редкой желтобровой овсянки даже была включена в пластинку «Голоса птиц в природе».

Глеб продолжал и ловить птиц для своей домашней коллекции. Теперь он, зная всех пернатых на аэродроме, мог выбрать самого искусного певца. Глеб расставлял там, где держалась птица, несколько своих замечательных лучков, настораживал их, используя в качестве приманки выращенных на собственной ферме мучных червей. И в доме у него появлялся очередной новый жилец.

Однажды, когда Глеб замешкался, одного плененного соловья съел колонок.

Тогда Глеб снабдил все лучки датчиками, протянул от них провода в свою бытовку и, как только на его пульте вспыхивала лампочка с номером ловушки, устремлялся к ней, торопясь извлечь добычу раньше, чем до нее доберется колонок.

С проводами, правда, выходило много мороки. И Глеб подумал, что надо бы поставить на каждый лучок миниатюрный радиопередатчик. Но решил пока повременить. Во-первых, это было довольно трудоемкое дело, а во-вторых, он опасался, что им заинтересуется аэродромная служба электронной контрразведки.

Дотошный военный орнитолог не остановился на достигнутом в своей борьбе с воронами. Столичные коллегии прислали ему несколько книг по этой тематике. Одна была на английском языке, и Глеб тут же купил большой англо-русский словарь. Результатом штудирования литературы был развернутый доклад Глеба перед генералами и полковниками о дальнейших перспективах предотвращения столкновения птиц с самолетами, а также сделанные Глебом же проектные эскизы приборов, которые могли бы помочь решить эту проблему.

И теперь на Глеба уже официально заработал военно-промышленный комплекс. Главные инженеры завода, которые уже успели снабдить новые модели «изделий» птицевозащитными решетками на воздухозаборниках, отредактировали чертежи Глеба и отдали их в мастерские.

Благодаря тому, что все разработки Глеба были воплощены в жизнь (точнее в металл), завод стал известен как лидер по профилактике столкновений в воздухе летательных аппаратов с пернатыми. Более того, к ним с таких же предприятий потянулись специалисты – перенимать опыт передовиков.

Начальство заранее предупреждало Глеба о каждом таком визите. Орнитолог сначала в конференц-зале читал лекцию о способах отпугивания птиц, а затем подготовленных слушателей выводили на аэродром, где разносился оглушительный, раздававшийся из мощных динамиков крик терзаемой вороны. А для того чтобы ее товарки не привыкли к однообразию транслируемых звуков, голос одной пытаемой сменялся карканьем другой, а ритм и громкость воплей задавались генератором случайных чисел.

Периодически вороньи крики стихали совсем, и в дело вступали звуковые пушки, работающие на метане, но грохотающие, как настоящие гаубицы.

Гостям демонстрировали и другие средства – развешенные повсюду большие блестящие стеклянные шары (отчего аэродром приобретал новогодний вид), рассаженные на столбах пластмассовые чучела ястребов, способные к тому же двигать крыльями и головой.

А напоследок Глеб запускал модель сокола, которая для отпугивания тех же ворон облетала весь аэродром и приземлялась на специальную асфальтовую дорожку рядом с домиком орнитолога.

В заключение, в доказательство того, что не все птицы опасны для летательных аппаратов, Глеб рассказывал о своих подопечных, демонстрируя чудесные фотографии и качественные записи песен пернатых.

Тем временем дела у завода пошли в гору. Индия сделала многомиллионный заказ на партию изделий четвертого поколения. На предприятии всем прибавили зарплату.

А Глебу, в качестве поощрения передали в безвозмездное личное пользование уазик-«буханку». И он понял, что мечта о синем каменном дрозде наконец-то скоро осуществится. Для этого надо было только переоборудовать автомобиль.

И Глеб, не забывая о своих обязанностях главного аэродромного пугала, приступил к делу. Со стороны ничего не было заметно. Военный орнитолог по-прежнему летом – в зеленом камуфляжном костюме, а зимой – в белоснежном, обходил заповедную территорию, устанавливая новые отпугивающие приборы и запуская механического сокола.

В научных сборниках по-прежнему появлялись статьи Глеба о жизни птиц на вверенном ему объекте. В птицеводном сообществе он стал признанным мэтром и посвящал новичков

в таинства содержания овсянок, славок, дроздов и мучных червяков, в секреты работы с лучками, тайниками и западнями.

Но, это была так сказать, вершина айсберга. Ее подводной частью была «буханка».

Дотошный Глеб сначала разобрал машину и обнаружил несколько дефектов мотора, подвески и электрооборудования, которые за определенную мзду устранили приглашенные Глебом специалисты, найденные им в заводских курилках.

После этого Глеб сам перекрасил машину, взяв за образец рисунок на ткани своего летнего камуфляжного костюма.

Потом он полностью освободил салон, ликвидировав все сиденья, полки, напольные сундуки и настенные шкафчики, которые входили в комплект военного узика.

Затем птицелов загнал машину под навес, и, казалось, потерял к ней интерес. Но это только казалось. Глеб по-прежнему готовился к экспедиции. Сидя за письменным столом, он тщательно рассчитывал каждую мелочь: где в салоне должна располагаться складная кровать, где надо прикрепить стол, где будет находиться шкафчик для посуды (Глеб спроектировал в нем и особые крепежи, чтобы чашки, ложки, тарелки, кастрюли и сковородки не гремели при езде по бездорожью).

Были предусмотрены также места для емкости с недельным запасом воды, нескольких запасных канистр с бензином (неизвестно, что может случиться в пути), рундуков для снаряжения, портативной душевой установки и газовой плитки с запасом баллонов. Не была забыта и подставка для ящика с мучными червями.

На почетном месте, в «красном углу» салона, под потолком Глеб предполагал прикрепить клетку для трофея.

Глеб долго не мог найти место для громоздкой «Кометы», да еще много времени ушло на разработку гасящего толчки контейнера, куда Глеб предполагал поместить фотоаппаратуру.

Скрупулезный Глеб возился с машиной больше года. Однажды в субботу, полностью загрузив машину всем необходимым, орнитолог прокатился по проселочным дорогам в окрестностях города. Из поездки он вернулся разочарованным: посуда в шкафчике на ухабах все-таки позвякивала, резиновая прокладка в крышке фляги с недельным запасом воды оказалась с дефектом, и пол салона был залит, крепеж для газовых баллонов ослаб, и один из них катался по полу, мучные черви где-то нашли щель и расползлись, а «Комета» после очередного ухаба перестала работать. Оказалось, что большинство из этих дефектов можно было устранить быстро. Только вот «Комету» пришлось долго ремонтировать.

И Глеб продолжал ходовые испытания своей машины.

В выходные дни он в одиночку колесил на своей «буханке» по области, выбирая для остановки берега рек, пойменные луга, таежные дебри и горные тундры.

Глеб в понравившемся месте устраивал стоянку, осматривал окрестности, расставлял лучки (к тому времени снабженные миниатюрными, собственноручно собранными радиопередатчиками), а сам возвращался в «буханку». Там птицелов включал радиоприемник, настроенный на частоту своих ловушек, доставал газовую плитку, чайник и, в ожидании пока вскипит вода, слушал тишину, приправленную в зависимости от обстоятельств комариным писком, шумом реки, завыванием ветра в кустах кедрового стланика или неприправленную ничем.

Глеб сидел за уютным столом, пил чай, смотрел на панель радиоприемника, где должна была зажечься лампочка, дублирующая звуковой сигнал (и цвет лампочки, и тональность звука для каждого лучка были особенные), и предвкушал, что скоро он вот так же будет сидеть на побережье Японского моря и так же ждать, когда хор звуковых индикаторов и танец разноцветных светлячков сообщат ему, что сразу в нескоро ловушек наконец-то попались драгоценные трофеи.

Наконец «буханка» была доведена до безотказности автомата Калашникова.

Глеб, убедившись в этом, забрался на антресоли и достал карту Приморья. Это была очень подробная карта Генерального штаба, подаренная Глебу одним специалистом по гидравлике.

Глеб долго работал с картой и, наконец, вычертил на ней три основных маршрута к берегам Японского моря и три запасных – к Татарскому проливу – в места, где на скалистых побережьях жили синие каменные дрозды.

Все было готово к экспедиции. Но тут Глеб женился. Вернее, его женили. Глеб, прекрасно знакомый с различными ловушками на пернатых, не сумел рассмотреть элементарного силка на человека.

Заметившая его особа (а это произошло на какой-то корпоративной вечеринке, куда Глеб с большой неохотой пошел) навела о нем справки, выяснила, что он порядочный, не пьющий, не охотник, не рыбак и начальство его ценит. И хотя должность у него не престижная, а связанная с какими-то птичками, но зарплату он получал не меньшую, чем другие инженеры. О прочных связях с летчиками, обкатывающими «изделия» завода, Ира (именно так звали будущую нареченную военного орнитолога), уже не мечтала (хотя и делала неоднократные попытки связаться хоть с одним из них официально).

Однако было одно препятствие: птицелов не обращал внимания на особ женского пола, все время думая только о пернатых.

Целеустремленная Ира размышляла над этой проблемой недолго. Она была умной девушкой и догадывалась, что обычные женские уловки на Глеба не действуют. Ира не стала, как сделали бы другие женщины, затеявшие такое предприятие, садиться на диету, подбирать облегающее платье, сооружать броскую прическу или наносить на лицо охотничью раскраску.

Вместо этого Ира ходила в зоомагазин и купила клетку с волнистым попугайчиком. А на следующий день подошла к будочке Глеба и попросила совета, как надо правильно содержать «эту птичку».

Глеб, патологически не переносивший попугаев, даже не взглянув на Иру (которая все-таки по этому случаю сделала неброский макияж), пробурчал, что попугая надо кормить овсом и просом, обеспечивать водой и держать подальше от сквозняков.

Так завершилось их первое свидание.

Ира, как только Глеб скрылся в своем домике, с омерзением вытряхнула попугая на волю, забросила клетку в бурьян и пошла к себе в отдел (она работала секретаршей у заместителя главного инженера, отзывчатого, но, к сожалению, безнадежно женатого).

К слову сказать, попугай не улетел далеко. Он поселился в соседней рожице, кормился вместе с воробьями у заводской столовой и в конце концов был замечен Глебом, пойман и принесен Дон Кихоту в надежде, что тот кому-нибудь пристроит птицу.

Случилось так, что вскоре у Дон Кихота встретились все трое – злосчастный попугайчик, Глеб и Ира, которая, разведав о посиделках у Птичьего Деда, решила брать Глеба там. Но перед этим она пошла в библиотеку и почти неделю штудировала там скучнейшие книги по орнитологии. И даже прочитала две статьи Глеба (что впоследствии и сыграло решающую роль).

Дон Кихот, приятно удивленный тем, что птичками начали интересоваться симпатичные девушки, тут же попытался приобщить ее к пернатым и предложил ей начать с простой птицы. Например, с волнистого попугайчика. С этим напутствием Дон Кихот вручил ей животное, которое Ира неделю назад купила в зоомагазине.

Ира, не подав вида, что они с этим пернатым уже знакомы, с благодарной улыбкой взяла ненавистную птицу, пообещав себе скормить ее первой попавшейся кошке, и произнесла:

– Спасибо большое. Надеюсь, что я когда-нибудь достигну таких высот в искусстве содержания птиц в неволе, что смогу завести себе синего каменного дрозда.

Глеб, поглощенный рассматриванием нового приобретения Дон Кихота – японской бело-глазки, и до этого совсем не замечавший Иру, при словах «синий каменный дрозд» вздрогнул, оглянулся и внимательно посмотрел на нее.

Уловив это, охотница продолжила орнитологическую беседу с Дон Кихотом.

– А кстати, у вас в коллекции его нет? – спросила Ира.

– Есть, – с гордостью сказал Дон Кихот и повел ее к клетке, а заглотивший наживку военный орнитолог двинулся за ними.

Через десять минут Глеб с Ирой оживленно беседовали. И он все больше и больше восхищался этой удивительной симпатичной девушкой, которая так хорошо разбирается в птицах. А заметив блеск в ее глазах, когда он, Глеб, начал рассказывать о своей давней мечте – о поимке синего каменного дрозда, птицелов наконец-то осознал, что на белом свете существуют не только красивые птички.

Все остальное было делом техники.

Два месяца они почти каждый день ходили в кино (Ира там умирала от скуки). Потом Глеб робко пригласил Иру к себе домой – посмотреть свою птичью коллекцию. Теперь посещение кино чередовалось с орнитологическими беседами (и не более того) дома у Глеба. Не привыкшая к столь долгим постам Ира извелась настолько, что ей неоднократно приходилось разбавлять свое сексуальное одиночество старинными приятелями. И только еще через месяц Глеб предложил ей остаться у него ночевать.

Свадьба случилась пышная – помогли родственники Иры. Было много щедрых подарков от Ириных приятелей, а друзья Глеба преподнесли молодым двухместный спальный мешок для орнитологических путешествий вдвоем.

Молодожены прожили в Глебовой квартире месяц, а затем энергичная Ира затеяла родственник обмен – вернее родственное слияние. И через полгода Глеб, холостяк с многолетним стажем, попал в большую Ирину семью (а по сути – в коммунальную квартиру).

У Иры с Глебом была отдельная комната. И хотя ее площадь была намного больше, чем площадь всей однокомнатной квартиры Глеба, однако специалист по авиационной орнитологии с удивлением обнаружил, что вся она плотно заставлена мебелью и места для его пернатых питомцев почти не было. Ферма мучных червей совсем не помещалась. В просьбе поставить ее на кухне или в коридоре ему твердо отказали. Глебу пришлось сделать другой, компактный вариант жучиноного жилища, а старый образец он отдал Дон Кихоту. И с фотолабораторией тоже пришлось расстаться.

Родители Иры не были в восторге от хобби Глеба. Птичий гомон их раздражал, вид мучных червей вызывал отвращение, и вообще они считали, что их дочь достойна лучшей партии. Однако умная Ира пресекла их брюзжание. Своего мужа она рассчитывала использовать длительное время. И поэтому берегла. А через полгода объявила Глебу, что он будет папой. В их комнате появились кровать, ванночка, детские вещи.

Места для клеток не осталось. Половину своей коллекции Глеб отдал Дон Кихоту. «Простых», зерноядных птиц он отнес к себе на работу, поручив их своим «лаборантам». В своем доме (вернее, в Ириной квартире) Глеб оставил славку-черноголовку и садовую камышовку. И еще в их комнате стояла одна большая красивая клетка. Пустая. Для синего каменного дрозда.

Не зря берегла Ира Глеба. Она разбиралась в людях и сразу же поняла, что Глеб человек очень ответственный. И надеялась, что он будет так же заботиться о ее ребенке, как и о своих птичках.

Так и случилось. Весь самый трудный первый год Глеб исправно помогал Ире, настолько исправно, что дед и бабка, да и Ира тоже постепенно переложили всю «черную» работу по уходу за малышом на птицелова.

Глеб продолжал служить на аэродроме, но реже стал появляться в квартире Дон Кихота и совсем перестал выбираться со всем орнитологическим братством в природу.

Прошел год, сын подрос, но забот у Глеба только прибавилось. Заболел дед Иры, и как-то так случилось, что все заботы по уходу за ним тоже легли на плечи Глеба.

Все лето он каждый день ездил на своей орнитологической «буханке» на дачу, где пребывали Ира с сыном и ее родители, а затем возвращался в город, где его ждал немощный старик.

Только во время этих перегонов Глеб, оставаясь в одиночестве, сам того не осознавая, отдыхал, размышляя, что, пожалуй, не надо брать в поездку за синим каменным дроздом тяжелую неуклюжую «Комету», а, наверное, стоит подкопить денег (почему-то их стало не хватать) и купить к комисионке хороший кассетный магнитофон «Sony».

Однако экспедиция все откладывалась. Сын рос, и забот все прибавлялось. Умер дед Иры и почти одновременно с ним – Дон Кихот. Все любители птиц потянулись было к оставшемуся единственному авторитету – к Глебу, но семейные дела не позволили ему стать лидером. Птицеловное братство в городе начало медленно хиреть, а затем распалось. Изредка кто-нибудь из старых приятелей Глеба звонил ему, советовался насчет пойманной птички, интересовался, не съездил ли Глеб за своим дроздом, и, получив отрицательный ответ, заканчивал разговор.

Да тут еще Ирина захотела получить специальность экономиста и поступила в заочный институт.

Глебу теперь приходилось делить свое время между уходом за ребенком и выполнением домашних заданий своей жены.

На птиц времени совсем не оставалось. Но Глеб по-прежнему верил, что все это скоро закончится, и они уже всей семьей поедут в Приморье ловить дрозда. В этом Глеба поддерживала Ира, когда, после сдачи очередной сессии, она, довольная, отметившая это событие с сокурсницами в кафе и пахнущая вином, приходила домой, гладила головку спящего сына, целовала Глеба в лоб, шла в ванну, а потом сидела с Глебом на кухне и, незаметно зевая, поддерживала орнитологическую беседу со своим супругом.

Шло время. Сын вырос. Ира закончила экономический институт и устроилась в банк. Зарабатывала она больше Глеба, но и задерживалась на работе подолгу.

Глеб к воспитанию сына относился так же ответственно, как и к любой другой работе. С точными дисциплинами у них проблем не возникало, как в прочем и с английским языком, который Глеб освоил благодаря переводам орнитологических статей. Естественно, не было проблем и с биологией.

Зато все гуманитарные дисциплины давались им с трудом. Глеб тратил много времени, чтобы сначала прочитать школьные учебники, потом дополнительную литературу и первоисточники (теперь Глеб с тоской, но добросовестно по ночам читал романы и повести, которые «проходили» в школе, чтобы затем растолковать их содержание сыну).

Глеб честно продолжал служить при аэродроме, не замечая, что жена завела постоянного и на этот раз перспективного друга – состоятельного владельца небольшой фирмы, что теща, оставив надежду на то, что зять когда-нибудь станет большим начальником, и используя Глеба только как бесплатного репетитора, очень умело переориентировала подрастающего сына на Ириноного бой-френда – дядю Сашу.

Число клеток сократилось до двух. В одной жила садовая камышовка, а в другой, той, которая предназначалась для синего дрозда, теща поселила канарейку.

Глеб продолжал в своем заповеднике проводить орнитологические наблюдения, усовершенствовать средства отпугивания пернатых (правда, новое начальство попросило Глеба, чтобы вороньи вопли из магнитофона были потише, да и крутили их пореже), запускал своего механического сокола и, если позволяло время, продолжал модернизировать «буханку».

Пришлось заново переделывать салон (ведь он теперь в Приморье планировал взять Иру и сына). Он заменил устаревшую газовую плитку новой, установил внутри машины биотуалет и портативный телевизор. С соседнего судостроительного завода ему принесли пару досок красного дерева. Глеб, отпросившись у Иры, несколько раз ночуя в своем аэродромном

домике, смастерил из них столешницу и, если позволяло время, продолжал усовершенствовать «буханку».

Пришлось заново переделывать салон (ведь он теперь в Приморье планировал взять Иру и сына). Он заменил устаревшую газовую плитку новой, установил внутри машины биотуалет и портативный телевизор. С соседнего судостроительного завода ему принесли пару досок красного дерева. Глеб, отпросившись у Иры, несколько раз ночуя в своем аэродромном домике, смастерил из них столешницу и установил ее в салоне "буханки".

Глеб с удовольствием осмотрел оборудованную машину, полностью готовую к экспедиции: топливные баки были заправлены, в продовольственном рундуке, кроме запаса сухарей, вермишели, макарон, круп, соли, сахара, пакетов с супами, банок с тушенкой, была припрятана и бутылка коньяка – на случай затяжных холодных приморских туманов. Рядом с водительским местом лежала карта с вычерченным маршрутом. Глеб запер дверцу машины, обошел окрашенную в камуфляжный цвет «буханку» со всех сторон и направился к проходной. Потом, подумав, вернулся, открыл кабину, забрал карту и пошел домой.

Признаки недуга Глеба не заметила ни Ира, ни сын, ни теща. Не заметили этого и на работе, где Глеб ежедневно докладывал на пятиминутках орнитологическую обстановку на вверенном ему аэродроме.

Первым обратил внимание на небольшую странность в поведении Глеба один из птицеловов, случайно встретивший военного орнитолога на улице и спросивший его о том, как следует содержать жаворонков. Сопратник обратил внимание не только на изможденное лицо и очень усталые глаза Глеба, но и на то, что при изложении четкой инструкции о правилах кормления этих пернатых тот неожиданно вставил какое-то слово, совершенно не касающееся темы разговора.

Через месяц любитель жаворонков случайно узнал, что Глеб находится в доме скорби. Птицелов позвонил домой Глебу. Сначала к телефону подошел какой-то незнакомый мужчина, а потом он передал трубку Ире. Она, вздохнув, подтвердила, что Глеб действительно серьезно болен. И дала адрес.

На следующий день коллега навестил Глеба.

Там было тихо и светло. И Глеб уже не выглядел таким усталым. Великий Птицелов, не обращая ни на кого внимания, сидел на лавке (навещавший, с присущей натуралисту наблюдательностью, отметил, что она намертво привинчена к полу) и рассматривал потрепанную карту Приморья, негромко бормоча названия рек, ручьев, перевалов и населенных пунктов, через которые проходила полузатертая красная линия к тому месту, где в ожидании Глеба пел синий каменный дрозд.

Египетские ночи

За окном затрещал мотоцикл, а потом из кондиционера повеяло легким дымком далекого степного костра. Я приоткрыл дверь и выглянул наружу. Мой августовский отдых в Египте длился уже полторы недели, но я никак не мог привыкнуть к жаре. В комнате из-за кондиционера было всегда прохладно, а, выйдя наружу, я в который раз был ошеломлен сухим зноем.

Солнце только что зашло за горизонт. На западе, на фоне огненного неба, чернел горный хребет. По олеандровой аллее нашего пансионата шел египтянин с ранцем за спиной. Гибкий шланг соединял ранец с длинной металлической трубой. Египтянин держал трубу наперевес, как носят крупнокалиберный пулемет командос в боевиках. Из ранца слышались звуки мотоциклетных выхлопов, а из трубы валили плотные клубы ароматного кизячного дыма.

Египтянин совал дуло этого дымокура в каждый куст (вот бы порадовался Фрейд!) утихомиривая, таким образом, несуществующих комаров (откуда им взяться, если с одной стороны пансионата – пустыня Сахара, а с другой – Красное море).

Я думаю, что такие ежевечерние прогулки служащего пансионата, провоцирующие психоаналитические размышления, имели одну цель – лишний раз подчеркнуть заботу, которую проявляла администрация “Жасмина” о своих клиентах.

Я вернулся в прохладный номер. Кондиционер приглушенно гудел, а на экране невыключенного телевизора мельтешили знакомые по Москве кадры рекламы. Только почему-то чистокровные американцы разговаривали не по-русски, а по-арабски.

Время ужина еще не наступило. Я повалялся на прохладных простынях, несколько раз прогнал все программы телевидения и, не найдя ничего интересного в исламском мире (телевизор принимал только Египет да еще, по-моему, Саудовскую Аравию), достал свой чемодан и стал с удовольствием рассматривать добытые за время отдыха трофеи. Я разложил на столе все собранные мною раковины ракушек и улиток, веточки кораллов, иглы морских ежей и стал перебирать это богатство, предназначенное для зоологического музея родного биофака, вспоминая, как я добыл каждый экземпляр и почему, собственно, я здесь занялся коллекционированием.

Деньги на эту поездку достались мне тяжело. Я полгода “пахал”, сочетая преподавание в вузе с подготовкой к печати школьного учебника по зоологии и наконец получил гонорар – как раз на поездку на Красное море – самое ближнее от Москвы море с коралловыми рифами. Наконец-то осуществилась моя давняя мечта: собственными глазами увидеть коралловых рыбок.

Первоначальные впечатления от Египта были негативными. В аэропорте Хургады мой турагент меня не встретил. Это первое. Пришлось добираться до “Жасмина” на такси, и таксист слупил с меня вдесятеро больше положенной суммы. Это второе. Портъе, силой отнявший у меня чемодан, а затем пронесший его десять метров до дверей моего номера, выклянчил у меня еще десять фунтов (фунт за метр!). Это третье.

Увидев, как быстро тает добытая резью в глазах от компьютера валюта, я решил с этим бороться. Сэкономить можно было только на сувенирах. В первый же день, зайдя в лавочку, где были разложены улитки, ракушки, кораллы и сушеные рыбы-шары и еле отбившись от торговца, пытавшегося всучить мне за двадцать долларов грубо ободранную напильником раковину мурекса, я выяснил цены на других моллюсков, выловленных предприимчивыми аборигенами на соседних рифах, – каури, лямбисов, жемчужниц и тридакн. И понял, как можно добыть и себе, и друзьям много хороших, а самое главное, бесплатных сувениров, а также пополнить зоологическую коллекцию своего института.

Прежде чем погрузиться в очень теплую, почти горячую воду Красного моря предстояло преодолеть пляж.

В каждом египетском приморском пансионате, пляж – самое главное место – старались оформить по-особому. В нашем “Жасмине” на берегу были устроены большие шалаши из огромных сухих листьев финиковой пальмы. Стены шалашей были редкими и не защищали от постоянно дующего с моря сильного ветра, зато создавали спасительную тень. В шалашах на день поселялись преимущественно итальянцы, русские, иногда – богатые египтяне.

Ближе к берегу стояли банальные деревянные топчаны, на которых обитали наиболее устойчивые к ультрафиолету немцы. Они с присущей этой нации педантичностью сразу же после завтрака занимали свои места и весь день загорали, вплоть до того момента, когда светило касалось горизонта. Немцы, ничем не занимаясь, лежали весь день под лучами жестокого египетского солнца, честно поглощая всей поверхностью тела то, за что они заплатили деньги. Они только изредка купались и смазывали себя кремом. Только один пожилой немец отличался некоторой активностью и любознательностью. У него было единственное хобби – он постоянно кормил рыб. Обычно немец с хорошим ломтем хлеба заходил в воду по колено. Вокруг него собиралась огромная стая мальков. Ихтиолог отщипывал от горбушки мелкие кусочки и бросал их рыбешкам, словно воробьям. Иногда он кормил рыб с пирса. Один раз я видел, как он швырял опешившим сарганам – свирепым и быстроходным хищникам с длинными, блестящими и узкими, как клинки рапир телами, – куски все того же хлеба. Некоторые тактичные сарганы из вежливости, даже пытались заглотить это странное для них угощение.

Динамичным итальянцам не сиделось в шалашах. Они курсировали по берегу моря, иногда шумно плескались на мелководье или плавали в масках к рифам, а потом шли в прохладный бассейн с пресной водой – остудиться и смыть соль. Южная энергия темпераментных итальянцев требовала выхода. Поэтому они или периодически занимались охраной природы Красного моря (подозреваю, что все они были активными членами Гринпис), или флиртовали со всеми проходящими по берегу особями мужского пола.

Самой заметной среди них была синьорина с потрясающим бюстом, который она категорически отказывалась скрывать от посторонних взоров. Бюст ее действительно был замечательным образцом сексуального сверхраздражителя, чудесным образом сочетающим в себе две несовместимости. Он был несоразмерно крупным и вместе с тем очень высоким, в буквальном смысле, мозолившим глаза оказавшемуся рядом с ней поклоннику. Даже вышколенные арабские бич-бои, невозмутимые как буддийские монахи, и те невольно реагировали, оглядываясь на этот гиперстимулятор.

Я был занят загадкой этого аномального явления до того момента, пока однажды, направляясь к морю, не оказался рядом с лежащей на топчане прелестницей. Точно помню, что, судя по теням, которые отбрасывали два ее гномона (оба – классической формы горы Фудзияма), было около трех часов. Только в таком положении под каждой грудью был едва заметен сантиметровой, очень аккуратный шов – память от визита к искусному хирургу.

Подражая итальянкам, и наши соотечественницы загорали топлесс. Это были милые тетки, жены служащих небольших нефтяных фирм, побывавшие уже на многих дешевых курортах – от Турции до Саудовской Аравии. Они периодически брали у меня маску – посмотреть на коралловых рыбок. Российские дамы еще не достаточно раскрепостились и поэтому, когда мы сидели рядом на топчанах и коротали время в беседах, то та из них, к которой обращался я, прикрывала рукой обнаженную грудь, но как только разговор заканчивался, снова подставляла ее солнцу.

Рядом с этой утехой для глаз купались египетские женщины. Они были сплошь увешаны золотыми кольцами, серьгами, браслетами и цепочками. Их купальные костюмы состояли из длинного до пят цветистого балахона, с рукавами, полностью закрывавшими руки, и платка на голове. Их было очень жалко, так как концентрированный рассол – вода Красного моря – с трудом смывалась под душем даже с обнаженного тела, не говоря уже о таких “купальниках”.

Чуть в стороне от ряда шалашей таборились серфингисты. На побережье дул ровный, сильный, не стихающий ветер и поэтому пансионат облюбовали не только любители жаркого солнца и коралловых рыбок, но и поклонники самых маленьких парусных судов. Я старался не плавать близко к их базе, так как на одном рифе, расположенном у их гоночной трассы, однажды утром нашел обломок киля серфинга и подумал, что если кто-то мог наехать на риф (а некоторые умельцы разгонялись на своих досках километров до сорока), то он с таким же успехом может наехать и на всплывающего ныряльщика, который в этом случае уж точно никогда не всплывет.

Между загорающими на пляже ходили бич-бои со щетками, метлами и граблями, все время разравнивая песок и собирая мусор. Поэтому чистота на пляже была идеальная. Весь найденный на пляже хлам бич-бои выбрасывали за забор. Там был настоящий, привычный по России дикий пляж – с какими-то досками, драными полиэтиленовыми пакетами, пустыми жестянками и бутылками. Я туда регулярно навещался, так как там во множестве водились крабы-привидения. Это были длинноногие, как борзые собаки, стремительные создания песочного цвета с глазами-перископами, имевшими угол обзора в 360°. Поэтому поймать такого краба было чрезвычайно трудно. При опасности он, приподняв клешни и заднюю пару ног, на оставшихся четырех беговых конечностях тенью проносился по прибрежному песку и скрывался в своей норке. Только один раз мне удалось отрезать путь к отступлению одному крабу, закрыв вход в его норку створкой ракушки. Но и тогда ракообразное сдалось не сразу. За крошкой, размер панциря которого не превышал трех сантиметров, я гонялся несколько минут, хотя краб честно не выходил за пределы ринга – своего территориального участка размером в 1 квадратный метр.

Но все это было лишь экзотической приправой к главному блюду, ради которого я собственно сюда и приехал.

Собираясь на пляж, я засовывал в огромный полиэтиленовый пакет ласты, маску, дыхательную трубку, мешки для добычи, натирался кремом, чтобы не сгореть на солнце. Потом я надевал белую футболку, которая тоже защищала меня от палящего солнца (в первый день, плавая без нее, я сжег спину). Эту футболку я никогда не носил дома, в России из-за надписей, знаков и рисунков на ней.

До рифов надо было проплыть метров 50. Я входил в невероятно теплую воду и плыл от берега. Сразу же ко мне пристраивалась небольшая стайка невыразительных серебристых рыбин размером с крупного леща, которые обычно сопровождали до рифа каждого пловца.

Вода была настолько прозрачной, что темные, словно далекие грозовые облака контуры рифа, начинали проглядываться метров за 30. В море у “Жасмина” рифы были небольшими – несколько подводных холмов диаметром до 20 м и еще один – вдалеке от берега, диаметром метров 50. В прилив можно было плавать прямо над рифом, а во время отлива, хотя и оставался сорокасантиметровый слой воды, но передвигаться вплавь на таком мелководье было невозможно.

Однажды, по неопытности, я попытался проплыть по такой мелкой воде, и волна приложила меня животом прямо на какую-то стрекающую живность, которая кучно поразила цель даже через рубашку, а кроме того, я задел за створку тридакны и сильно порезался. Тогда я подогнул ноги, ластами встал на риф и начал медленно, пешком пробираться к открытой воде по торчащим вверх коралловым ветвям.

Над рифами цвет воды был ярко-зеленым, а над глубиной – пронзительно синим. Вдалеке виднелись многочисленные, несущиеся по волнам яркие разноцветные треугольники парусов серфингистов. Метрах в пяти от меня несколько раз подряд из воды выскочила плотная стайка мелких, с пол-ладони округлых серебристых рыбок, да так ловко и слажено, будто кто-то из под воды стрелял никелированной картечью. Вдруг совсем рядом с рифом из волны показалась

дыхательная трубка, плюнувшая в меня струей воды. Всплывшая ныряльщица оказалась той самой заметной итальянкой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.